

Б И Б Л И О Т Е К А

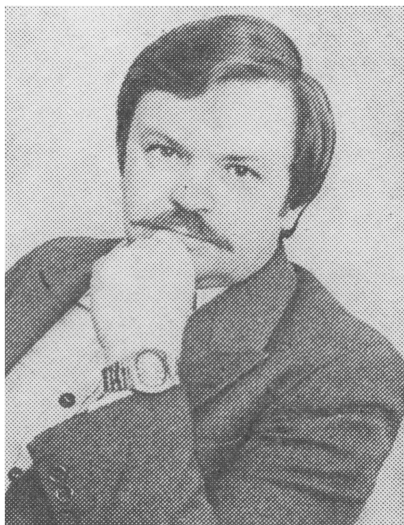
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 28

1984



Альберт ЛИХАНОВ

НЕЖЕЛАННЫЕ, ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 28

Альберт ЛИХАНОВ

НЕЖЕЛАННЫЕ, ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1984

Альберт ЛИХАНОВ

Альберт Анатольевич Лиханов родился в 1935 году в городе Кирове. После окончания Уральского государственного университета работал в областной партийной газете «Кировская правда», редактировал молодежную газету «Комсомольское племя». Сейчас — главный редактор журнала «Смена», президент Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества ССОД.

Автор многих книг прозы. В 1979 году издательство «Молодая гвардия» выпустило двухтомник избранных произведений Альберта Лиханова, а в 1983 году издательство «Педагогика» книгу публицистики «Драматическая педагогика», журнал «Юность» во втором номере 1984 года опубликовал новую повесть писателя «Последние холода». Книги Альберта Лиханова переведены в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Монголии, США, ФРГ, Италии, Голландии, Японии и других странах.

За свои произведения Альберт Лиханов удостоен Государственной премии РСФСР, премии Ленинского комсомола и Международной премии социалистических стран имени А. М. Горького.

НЕЖЕЛАННЫЕ, ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

Добро и зло для ребенка — это то, чем была молния или улыбка солнца для первобытного человека — таинственной карающей десницей или благословением.

Януш Корчак.

Подступаясь с бьющимся сердцем к тяжелой этой теме, я долго и мучительно думал о том, какой выбрать к ней камертон, какую интонацию из многих возможных — и даже нужных! — должно признать единственно точной... Не знаю, достигнута ли искомая цель, но вот к чему снова и снова возвращается моя тихая печаль, о чем спрашивает моя героиня и на что я не могу дать ей ответа, — впрочем, она и не ждет от меня ничего; она спрашивает себя, и я тоже себя спрашиваю, бесконечно возвращаясь к этой простой мысли: отчего даже хорошие, достойные люди так не любят знать про чужую беду, так сторонятся ее, так не хотят думать о ее истоках?

А может, в этом — праведная закономерность, и нравственное здоровье наделено рациональным эгоизмом, по законам которого надо держаться подалеже от всяких бед, памятуя лишь о положительных началах столь быстротекущей жизни?

Или есть суеверие, по которому надо сторониться большого и неприятного?

Но почему же тогда она, моя героиня, ведет себя по-другому?

В силу должности своей, избранной профессии?

Нет.

Я все время задавался вопросами: у нее, что, душа шире? Конечно, шире, чем у тех матерей, с какими ей дело иметь приходится, но сравнение это не правомочно, души у этих женщин с изъяном; если же вести отсчет от чувств естественных, то душа у моей героини, как говорят врачи, в пределах нормы, если, конечно, можно так говорить о душе. Может, сил у нее больше? Да нет. Мораль какая-то иная, другой, высшей чувствительности? Нет. Мораль здравого смысла — это самое безошибочное, если

говорить о правилах поведения в необычных обстоятельствах, и свод внутренних истин моей героини выглядит именно так.

Видимо, она просто праведно живет, согласуя поступки с сердцем и здравым смыслом, — это ведь тоже много, когда речь идет о мудром исполнении долга.

Нет, и это не то, хотя, согласен, немалое дело — жить и работать в предложенных обстоятельствах именно так.

Есть в ее поступках нечто особенное, выделяющее, где сердце, здравый смысл, высокая чувствительность души — лишь основа, на которой строится все отношение к жизни.

Осознанность. Вот, пожалуй, это слово ближе всех остальных приближается к правде.

Осознанность своего места, своей роли в ни на минуту не утихающем спектакле болей и радостей.

Она не актриса в этом спектакле, а действующее лицо. И режиссер своих поступков — она сама.

Еще одна подробность — в преддверии рассказа.

Я шел в этот дом, и по дороге мне попадалось множество детей. Боковым, неосознанным зрением я отметил этот факт, удивляясь обилию ребят — и постарше, и совсем маленьких, и вовсе, видно, грудных, в разноцветных колясках, везомых бабушками и молодыми матерями, и ничего не привлекло меня в обычности этой уличной идиллии, ничего, кроме множества.

Но множество — категория нравственная и не всегда способна вызвать самостоятельную мысль...

Когда я возвращался, детей на улицах стало гораздо меньше, может, оттого, что вечерело, но я жадно вглядывался в каждое детское лицо: независимо от желания вглядывался с пристрастием и ревностью и находил, да, находил такое простое подтверждение ее слов: «Ребенку нужно, чтобы руки матери пеленали, ласкали, одевали, кормили — только его одного».

Дети, идущие, едущие в колясках, казались безмятежными и тем, выходило, были как бы на одно лицо.

Они были просто беспечальны.

Легко сказать: просто.

Беспечальность идет от естественности жизни, и она проста, коли жизнь счастливо проста и счастливо обыкновенна.

Сделать беспечальной печальную жизнь — вот что непросто.

В сущности, внешне здесь нет ничего особенного, выделяющего. Обыкновенный детсад.

И лишь для меня — необыкновенное стечение обстоятельств: в этот сад, точнее — в сад, который был когда-то именно в этом здании, — подумать только! — ходил я лет этак сорок с лишним назад.

Сердце екнуло, но несильно, негромко — время сделало свое дело. В памяти яркие, невыцветшие, но редкие лоскутки из раннего детства.

Однажды на прогулке во дворе мы нашли мертвого воробья. Кто-то из девочек хлюпал носом, а мы, мальчишки, принялись рыть под тополем могилу детсадовскими своими лопатками. Дело шло туго, потому что скоронить воробья мы решили под старым тополем, и у нас недоставало сил перерубать тополиные корни. Наконец яму отрыли, завернули птицу в клочок газеты, засыпали, поставив вместо памятки палку. Помню, в обед уже все смеялись, даже девочка, которая хлюпала носом, а мне было обидно за воробья, что все так быстро его забыли.

Теперь, войдя во двор, я поискал глазами тополь и нашел его. Он совсем состарился, утратил размашистость ветвей, высох, как высыхают к старости люди, но часть листы еще молодо шелестела.

А память вынула из запаса еще один яркий лоскуток.

Мама, ее розовое, с холода, лицо, резко-зеленая, с серыми обшлагами и воротом кофточка, — мама пришла за мной, я что-то крепко заждался ее — и вот она протягивает мне маленькую мандаринку, завернутую в шуршащую полупрозрачную бумажку с картинкой. От мандаринки вкусно пахнет праздником, ожиданием радости, и я прижимаюсь, обняв маму, втягиваю в себя аромат мандаринки — как славно, что она не просто так, а в особой бумажке — запах маминой нарядной кофточки, свежесть морозца, захваченного с улицы, и мне так сказочно хорошо, хорошо...

А еще я помню вот это пространство между этажами, раньше тут была раздевалка нашей группы, воспитательница наказала меня несправедливо — за что, не помню, а вот несправедливость осталась, — и я сижу тут, на лавочке, слезы текут по щекам, и мне до страсти хочется умереть — пусть порадуетя, несправедливая, моей несправедливой смерти.

И вот зал. Сохранилась фотография: я в военной форме, с красной звездой на шлеме, за спиной винтовка, а сам я на игрушечном коне — и вид у меня решительный. Год был предвоенный, а может, даже первый военный, его начало, до беды осталось всего несколько месяцев, в саду какой-то утренник, я только что декламировал стихи, где поминался враг, которого мы побьем, нарком Ворошилов, винтовка; и вот я, вышедший прямо из стихотворения, сижу на коричневом коне, а на меня, я это помню точно, с любовью взирает из-за спины фотографа дорогая бабушка. У фотографа большой аппарат с треногой, он обещает птичку, и я напряженно гляжу в стеклянное окошко, откуда вылетит обещанная птичка, а не тот воробей, которого мы схоронили под тополем...

Я иду по залу, который теперь кажется комнатой, я поднимаюсь по ступенькам, которые были когда-то так высоки, я прикасаюсь к низким, для детей, перилам, которые прежде были в самую пору, я улыбаюсь, перебирая лоскутки невозвратимого детства, и странным, таким простым и таким неясным образом перехожу из своего детства в детство нынешнее, в похожий, но другой дом.

Если бы не память, ничего особенного. Обыкновенный детсад. Малыши просыпаются: кончился тихий час. Махонькие кроватки, спросонья огромные глаза, светлые, черные, серые головенки. И громкий голос медсестры:

— А вот это у нас отказник! Мишенька, привет!

Мишенька беспечально улыбается.

— А вот этого нам подкинули! Сережа, к чаю — конфеты!

Сережа смотрит задумчиво, вполне осознанно, и никакие конфеты его не волнуют.

— А вот этот у нас дурачок! — восклицает сестра, и я говорю ей:

— Тише, что вы!

— Ой, — машет она рукой. — Они ничего не понимают!

Я не согласен с ней, тороплюсь выйти из спальни. Мне неловко, что я участвую в таком разговоре. В ползунковой и в младшей группе, думаю я, будет полегче, там можно говорить все, сосунки и ползуны ничего не понимают действительно, а трехлетки — они понимают, все понимают, если не умом, так душой, они ждут, не сознавая этого, они чувствуют свою застылость и чувствуют, что где-то живет их радость, их волшебное оживление: в один прекрасный миг, как вот теперь, дверь распахнется, войдет незнакомый дядя или еще лучше незнакомая, но такая родная, долгожданная тетьа, и все на свете перевернется.

Мороз продирает по коже, когда спросонья, еще не выбравшись как следует из дремы, чей-то тонкий голосок произносит вздох:

— Папа!

И нестройный хор повторяет, глядя на меня с наивной, доверчивой открытостью:

— Папа! Папа! Папа!

— Нет, это не папа, — вносит ясность сестра и выпроваживает меня из спальни.

Надежды напрасны — в малышовой группе легче не становится, когда видишь спорченные, стариковские лица и попки новорожденных, которых, обгоняя друг друга, прибирают сестра и нянечка, сбившиеся с ног.

Нянечка — совсем юная, сестра — постарше, видать, опытная, обходится с малышами споро, да только сколько же надо терпения и сил, чтобы вдвоем два десятка карапузов обиходить, утешить, посадить в манеж... Из кроваток слышится рев и грай, в манеже тише.

Лежат, гулькают себе под нос, пускают слюнки, разглядывают потолок полдюжины совсем новеньких людей. Еще не ведают они ни о чем. Не ведают о себе, о судьбе своей.

А судьбы у них — у всех до единого, у целой сотни с лишком — уже драматические.

Потому что этот детсад совсем не детсад, а Дом ребенка.

Детский сад — он лишь внешне. Внутри же...

А нутро этого дома печали — в маленьком железном сейфике.

Иметь бы групповой портрет, но сделать его фотографу будет невозможно: рук не хватит ни у фотографа, ни у остальных.

Главврач, врачи, старшие медсестры, нянечки, педагог, — если всех собрать вместе да еще позвать на помощь специалистов, которые ходят дважды в год на освидетельствование детей, — психиатра, отоларинголога, дерматолога, хирурга, невропатолога, — если даже фотографа позвать, при условии, что тот заранее установит свой фотоаппарат, — и при этом старшие группы будут стоять на своих ногах, все равно рук не хватит, чтобы сняться всему Дому ребенка, в полном составе. Если даже взрослым по два ребенка взять. Рук тут не хватает в прямом, буквальном смысле слова, и групповой портрет возможен лишь в уме.

А портрет в уме — это ведь не собрание изображений, собрание судеб...

Приступать к нему без провожатого — дело немислимое и опасное. Так что я выбираю в поводыри ее, мою героиню.

Почему именно ее, станет ясно несколько позже. Что касается ее служебного положения, то дело это ей в самую пору. Она педагог. А зовут ее...

Ее имя очень просто, обыкновенно, я же, по размышлению, назову ее именем нереальным, чуточку шутливым и все же вполне серьезным, с отчеством, произведенным от имени не мужского, а женского, потому что добродетели, о которых идет речь, увы, женского рода.

Итак, назовем ее Вера Надеждовна. Фамилия образуется от имени Любовь. Так что, если вам необходима ее фамилия, возьмите это имя и образуйте фамилию, которая вам понравится больше.

И все же не о ней вначале.

О ее деле.

Маленький сейфик хранит самодельные папочки, точнее, картонные кармашки размером чуть побольше свидетельства о рождении. На обороте этих свидетельств стоит милицкий штамп о прописке владельца документа в Доме ребенка. Штампик тиснут прямо на свидетельстве или на отдельной бумажке, приклеенной к нему.

Картонные кармашки тонки, а документы повторяемы: направление отдела здравоохранения, решения народных судов о лишении матери родительских прав, акты медицинского освидетельствования — каков малыш при поступлении в Дом ребенка. Есть еще два рода документов, один — типовой, другой — произвольный. Оба вызывают озноб.

Типовой называется договором, и хоть много видывал я договоров, вызывающий столько чувств прочитал впервой, а потому привожу его целиком:

ДОГОВОР

Настоящий договор заключен, с одной стороны,

гр. _____

рожд. _____ место рождения _____

проживающей _____

С другой стороны, Дом ребенка горздравотдела

Настоящий договор заключили о нижеследующем:

Гр. _____

передает своего ребенка на воспитание в Дом ребенка

Перед Домом ребенка я о б я з у ю с ь:

1. По истечении срока договора взять обратно своего ребенка для дальнейшего воспитания.
2. Своевременно сообщать свое место нахождения, если оно изменится.
3. Выполнять свои родительские обязанности, регулярно навещать своего ребенка, оказывать содействие Дому ребенка в воспитании моего ребенка.

Если я нарушу это обязательство, то в соответствии со ст. 101 Кодекса о браке и семье РСФСР, мой ребенок по решению исполкома Советов народных депутатов может быть передан на усыновление или удочерение другим гражданам без моего согласия.

Настоящий договор составлен

« _____ » _____ 198__ г.

В двух экземплярах по одному для каждой стороны.

Главный врач Дома ребенка _____

Сдавшая (ший) ребенка _____

Как видим, обязательств минимум. Жестче надо? Хотя бы взыскивать материальную помощь? Нет, государство этим минимумом своим демонстрирует человеколюбие, понимание женщины, матери-одиночки, которая попала в непредвиденную ситуацию, и год-два-три даются ей в виде отсрочки выполнения материнских обязанностей.

Вот студентка попала в тяжелое положение — семья далеко, малообеспеченная, стипендия скудная, учиться осталось два года, а в общежитие ребенка не возьмешь и в ясли не устроишь.

Были, были случаи — бегали чуть не каждый день, плакали над малышом, потом учение заканчивали и забирали ребят с поклонном, с благодарностью, с вечной памятью про тяжелое и все-таки благословенное начало, подмогу не очень радостного, но нужного дома.

Выходит, договор этот, минимум обязательств нужны в таких именно пределах — ведь рассчитан бланк на типовое благородство, а не на массовую подлость.

Вот еще один бланк, более жесткий и по названию и по существу. Тут уже не «договор», но «акт», тут уже не договариваются, а фиксируют, да и происхождения документ этот милицейского.

Итак, заголовок: «Акт о доставлении подкинутого ребенка». Инспектор и двое понятых — имярек — составили акт о том, что в поезде № 194, вагон № 3, в 18.15 московского времени обнаружен мальчик, приметы которого таковы: смуглый, нос курносый, одет в ползунки махровые, капор белый в малиновый горошек, чепчик розовый, одеяло в розовую клетку, розовые цветные ползунки про запас.

Еще один документ, приложенный к акту. Ходатайство в горзгас: «Мы, нижеподписавшиеся — заведующий отделением городской больницы такой-то, ординатор такой-то, хирург такой-то, — просим зарегистрировать мальчика семи месяцев, рождения 15 мая 1981 года, и присвоить ему фамилию, имя, отчество — Бурденко Иван Иванович. В больницу поступил тогда-то с линейного отдела милиции станции такой-то».

В выборе фамилии явно сказалось присутствие хирурга среди вынужденных ходатаев, что ж, честь ему и хвала, что подкидыш стал однофамильцем замечательного человека. Пусть хоть это будет пока что залогом его достойного будущего.

Знали бы, знали великие люди прошлого — давнего и близкого — мудрые ученые, талантливые писатели, героические полководцы, сколько безвестных, покинутых ребяттишек получили их славные имена и сколь прекрасно святое желание опечаленных взрослых, оказавшихся у истоков этих детских судеб, хотя бы именами обеспечить невинной, да уже опаленной бедой ребятне прекрасное, возвышенное родство!

Что в этом? Хрестоматийная ограниченность? Сентиментальная экзальтация? Неумение придумать ничего лучшего?

Я думаю, желание внушить мудрость, талантливость, героизм будущим людям, завтрашний день которых по вере их нарекателей в собственных руках тех, кто только начинает быть.

Высокое имя к высокому и обязывает — почему бы и не согласиться с этой благородной, доброжелательной версией?

И вот еще один документ в пример, уже без всякой формы, писанный произвольно, как бог на душу положит, смысл только один, одна коробящая суть:

«Я, Пошева Фаина Ивановна, 1956 года рождения, родившая ребенка женского пола, весом 2450, двадцатого июня 1982 года, отказываюсь от воспитания и любых прав на него. Я не замужем, материальные условия плохие. Ребенок у меня третий, двое уже сданы государству». И подпись. И дата: десять дней спустя после рождения.

Я видел это создание, этот орущий кулек — еще не человек, только лишь человеческий материал, оболочка, в которую надо вдохнуть душу, а вначале вдохнуть здоровье, сохранить жизнь.

Он плачет, этот «ребенок женского пола», плачет не от беды, от самого факта присутствия в жизни, и нет ему никакого дела до того, что присутствие его это тут нежелательное для родившей его женщины.

К чему я стремлюсь? Чего добиваюсь?

Я пишу для добрых людей. Для тех, кто печаль эту — не только мою — поймет и разделит. И все же, все же, как писал Твардовский, отлично я понимаю, что прочтут написанное мною не одни лишь добрые люди. Прочтут и злые. Прочтут и зададут этот каверзный вопрос: для чего он пишет об этом? Чего добивается?

Может, стремится бросить тень на святое наше материнство? Поставить под вопрос его чистоту и здоровье? Лишить уверенности нас таким образом?

Отвечаю недоверчивым: успокойтесь!

Миллион благодарных слов сказано о материнстве, а все ведь мало. Да разве в благодарении лишь одно дело?

Мать — наш самый близкий и самый родной человек до гробовой доски — ее ли, нашей ли, — от нее мы получаем и самое жизнь, и все, что за этим следует, — силу, любовь, уверенность в себе. Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш, вкладывает в уста наши доброе слово, а память осеняет своими беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человеческом, что было до нас.

Из тысячи стихов, написанных о матери и материнстве, нет ни одного, пожалуй, неискренного, а мне вот все же очень нравятся эти негромкие строки Твардовского:

Ты робко его приподымешь:
Живи, начинай, ворошишь.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.

И, может быть, вот погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать,
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.

Но ты не взгрустнешь ли порою,
Увидев, что первенец твой
Любим не одною тобою
И нужен тебе не одной?

И жить ему где-то в столице,
Свой подвиг высокий творить.
Нет, будешь ты знать и гордиться
И будешь тогда говорить:

А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.

Перечитайте последнее четверостишие еще раз. У какой ожесточившейся души не вызовет оно теплой волны, подкатившей к горлу? Высокие слова имеют шанс остаться холодными, простые же, как эти, всегда теплы.

Поэт, как известно, и самое отвлеченное через себя пропускает, а тут — о матери. И не хочешь, а знаешь, веришь: слова эти простые складывая, Твардовский свою мать видел.

Так что не злого человека хочу я видеть перед собой, а доброго, понимающего, принимающего чужую беду. Вот и вижу я глаза матери великого поэта, которая могла и должна была сказать именно так, как записал ее сын, и к ней обращаюсь, спрашиваю:

Как сердце материнское может ожесточиться до такой меры, чтобы от ребенка своего отказаться?

Или вовсе не материнское оно, ведь бывает же, что женщина и мать — понятия несовпадающие?

Эгоистка обыкновенная?

Ведь как бы ни трудно жилось вот этой, например, Пошевой Фаине Ивановне, 1956 года рождения, — а допустить это можно, — не трудней же ей приходится, чем многим тысячам, живущим от нее неподалеку и нелегко, а вот ведь не бросающим своих детей?

А вдруг материнство, святая эта ипостась, тоже способно вырождаться? Нет, не вообще, не везде и сразу, а в отдельных женщинах, в отдельном роде, семействе?

Трудно вообразить себе обыкновенную женщину, которая бы написала вот такую расписку и потом, всю жизнь свою оставшуюся, не каялась бы, не терзала себя. Значит, женщина эта не обыкновенная, выродок, чудовище, поганка без корней?

Отвечу на собственные вопросы.

Печальная эта истина, трудно с ней смириться, трудно принять, но истина потому и зовется истиной, что она правдива. Так вот — существует печальная истина, по которой и святые начала могут угасать, умирать, вырождаться.

Выяснить причины угасания, умирания и вырождения — дело не очень приятное, но нужное, важное.

Видеть красивое — всегда приятно.

Видеть ничтожное — больно. Оно слепит, оно вызывает отвращение. Любоваться ничтожным немислимо, но препарировать его необходимо, иначе оно будет процветать. Ничтожное подобно опухоли: выяснив причины ее возникновения, опухоль надо лечить, а если нужно, оперировать.

Так и тут.

Горько говорить о материнстве ничтожном, несостоявшемся. Но суждение о поруганном материнстве вовсе не означает неуважения к материнству истинному, прекрасному, достойному.

Стоит ли говорить вообще на эту тяжкую тему? — могут спросить меня. Ведь поруганное материнство составляет доли процента и не способно составить серьезной проблемы.

Согласиться бы с радостью, да не выходит. Безответственное рождение, безответственное материнство похоже на выстрел шрапнелью: оно поражает сразу многих.

Даже нерожденных.

Вера Надеждовна:

— Вот сколько думаю, сколько бьюсь, а никак понять не могу, никак не найду ответа: жизнь наша все лучше и лучше становится, спокойнее, материально, если только хочешь, конечно, стремишься, каждый может себя обеспечить; если же говорить о помощи — обратиться только, разве кто откажет, завод ли, колхоз, любое учреждение, — но вот никак не убывает, нет, никак меньше их не становится, наших ребятишек, без вины виноватых.

Кто же они, виноватые? Какие они?

Она вспоминает свое начало, полтора десятка лет тому назад. В моде тогда были плащи болонья, мало кто их имел, и вот приходит из роддома вместе с ребенком такая эффектная мамочка — в болонье, на модных каблучках-шпильках, вся из себя элегантная, приносит младенца, чтобы соблюсти последние формальности, поставить подпись под отказом, сходить с патронажной сестрой к нотариусу.

Пока дамочка ждала, женщины о своем говорили.

Вера Надеждовна сказала, между прочим, что вот, мол, они с мужем получили двухкомнатную квартиру, одна дочка у них есть, неплохо бы и о сыне подумать — так, обычный женский разговор, ни больше ни меньше, — но кто же в квартире не радуется, кто не связывает с ней своих намерений.

И вот та эффектная дамочка в модной болонье и на шпильках вдруг гордо так говорит:

— А у меня трехкомнатная квартира!

Разговор как осекло, все замолчали, хотя на языке вопрос вертелся: «И что же единственного своего ребенка сдаешь?» Знали уже по бумагам — ребенок единственный, первый.

Сходила дамочка к нотариусу, поставила точку в судьбе собственного ребенка, стала прощаться — не с ним, а с сотрудницами, — Вера Надеждовна ей и говорит:

— Покормите хоть последний раз грудью дитя-то собственное!

Та не смутилась ничуточки, воскликнула:

— Что вы! Я его и в роддоме-то не кормила.

Кивнула, прикрыла за собой дверь и навек исчезла.

Вариант первый: приехала, беременная, из Читы к сестре, пожила тут несколько месяцев, родила ребенка, отказалась от него, махнула

хвостом, заметая следы, и вернулась назад, в свой город. Вариант эгоистки, потерявшей совесть.

— Замела следы? — сомневаюсь я. Ребенка, это был мальчик, усыновили добрые люди, а в таких случаях, по законодательству, матери, если она даже очень захочет, о ребенке ничего не узнать. При таком раскладе, выходит, скрыть материнство куда легче, чем скрыть отцовство...

Впрочем, речь сейчас не об этом. Речь о природе — если это природа! — такого материнства. Вопросы рождаются прямые, но закономерные: материнство ли это вообще? Почему надо надеяться лишь на суд совести в таких ситуациях? Отчего женщина, подобная моднице на шпильках, освобождена от всякой моральной и материальной ответственности? Возможна ли вообще ответственность?

И еще: какова мораль этой женщины? До каких степеней изолгалась она перед близкими — ведь есть же и близкие у нее? Кто ее учителя? А мать, чему научила она? Или в личной судьбе образовался излом такой драматической силы, что пришлось избавиться от сына? Это, впрочем, звучит смешно, ибо с точки зрения нормальной психологии изломом таким, вызывающим понимание, может служить лишь собственная смерть или неизлечимая болезнь при родственной пустоте вокруг.

От этом речи, выходит, нет.

Речь идет о постыдстве, о казни материнства женщиной, способной рожать.

Вариант первый предполагает человеческую подлость, в данном случае сугубо женскую подлость — и больше ничего.

Никаких оправданий нет и быть не может.

Налицо признаки благополучия — материального, имеется в виду, — умысла, осквернения материнства, боязнь за собственную судьбу, точнее — за собственную школу.

Подлее этого трудно придумать.

Вариант второй имеет, так сказать, привходящие обстоятельства. Нельзя сказать, чтобы обстоятельства эти вызывали сочувствие, скидку, — ни в коем случае. Современное законодательство признает их отягчающими обстоятельствами, и это вполне справедливо.

Однако они есть, и это очевидно.

Что за обстоятельства?

Беспутная, порой развратная жизнь и пьянство.

Сразу сделаю необходимую и важную, на мой взгляд, оговорку. О пьянстве много говорят, много пишут. Ясное дело, прежде всего беспокоят прогулы — как следствие пьянства, плохая, некачественная работа, дисквалификация людей: что может доброго сделать человек с трясущимися руками и мутным взглядом? Пьяному, гласит народная мудрость, море по колению, ему все легко: от оскорбления, мордобоя до воровства, до домашнего террора, до нарушения самой святой истины.

И все же, как ни крути, все это первичные, лежащие на поверхности итоги пьянства. О следствиях — самых страшных, человеческих следствиях тяжкого этого зла — говорим мы неохотно, как правило, не углубляясь далее разрушенных семей.

А следствия его куда глубже! Уходит в пространство и время злобная сила водки, необратимо ломая судьбы и жизнь.

Так вот, вариант второй — это мать, лишенная судом, а значит, государством, родительских прав, и в ста случаях из ста мать эта пьющая. Та, первая, в модной когда-то болонье, растоптала материнство умышленно; другая, расхристанная, неопрятная, с синяком под глазом, с трясущимися руками, несвязной речью, тусклым, не вполне осознанным взглядом, тоже растоптала материнство, правда, вроде бы неумышленно: водка погубила.

Однако есть ли разница? В чем она? Ведь разницу нужно судить по результату. А он одинаков.

А если говорить про результат отдаленный, то и в лучшем случае — подчеркнем эти слова: в лучшем случае, они много значат — мука станет трехсторонней, мучиться будет не только пьянчужка-мать, не только несчастная родня и окружение, но и подросток ребенок, — мучиться сознанием неполноценности собственной матери, ее никчемной, исковерканной жизнью со всеми ее рикошетом попадающими бедами. Повторим: в лучшем случае.

На этот лучший случай сильно надеется государство, сильно, ничего не скажешь. Самый главный признак человечности, на мой взгляд, признак истинного гуманизма состоит в том, чтобы человеку, который споткнулся, дать шанс, дать попытку выпрямиться, починить свою жизнь, исправить ее, улучшить.

В ситуации, когда речь идет о материнстве, есть что сравнить.

Родительских прав человека лишает суд по всем, понятно, правилам строгого правосудия: судья, народные заседатели, прокурор, адвокат, свидетели — уйма народу выяснят все подробности дела, чтобы вынести заключительный вердикт. И он, этот приговор, справедлив всесторонним, доскональным, привередливым, если хотите, выяснением всех, самых мельчайших обстоятельств. Словом, материнства лишает общество, и, пожалуй, лишь в кричащих случаях, когда без этого обойтись невозможно.

При этом: возбуждает дело, как правило, общественность, милиция, школа — судьба ребенка у всех на виду и всех беспокоит.

При этом: стоит родителям, читай — матери, исправиться, бросить пьянку, заняться воспитанием, хотя бы элементарным, приняться за работу, и наше общество дает ей шанс пересмотреть дело, вернуть назад утраченные права.

При этом: даже лишенной родительских прав однажды, затем эти права восстановившей и вновь потерявшей их женщине снова дается этот спасительный для нее — как для человека и как для матери —

шанс: попробуй еще. И еще и еще. Человеку верят до последнего. Если хотите, до самого последнего.

При этом: закон шадит самое святое родительское право человека, совершившего даже высшее по тяжести деяние.

При этом: мать, лишенная родительских прав, не лишена возможности видеть своих детей, говорить с ними. И хотя, по правде сказать, далеко не всегда это общение приносит пользу ребенку, в возможности видеть своих детей тоже много по-человечески понятного.

Это все закон, гуманный закон, его самоответственность, его человечность, его стремление дать человеку шанс.

И — при этом! — мать лишает сама себя всех своих прав и обязанностей — раз и навсегда лишает! — без всякого суда, без прокурора, без свидетелей и заседателей, без общественности и адвоката, подписывая своей рукой заявление об отказе от ребенка.

Единственный, кто требуется, и то лишь для соблюдения протокола, утверждения факта, — нотариус.

Общество лишает материнства, давая бесконечное множество шансов, мать вправе лишить себя всех своих прав — раз и навсегда — единственным своим решением: факт в пользу доброты общественного решения, против жестокости решения добровольного.

Но это лишь одна сторона дела.

Вера Надеждовна:

— Я всегда поражаясь! Они не знают? Сейчас все всё знают! Не могут совладать с собой? Трудно поверить. Эти женщины жалеют себя, вот что. Рожать хорошо, вот что они выучили, единственное, что выучили. Получают декретный отпуск, понятное дело, оплаченный. Возможность жить праздно, опять же пить. Знают, что при родах организм обновляется, некоторые хорошо переносят беременность. Словом, жалеют себя, не думая о ребенке — о том, каким он будет.

Каким он будет — самое трагическое место в этой нелегкой проблеме. Пьющая женщина, как правило, рожает ребенка от пьящего и пьяного отца. Сама к тому же во хмелю.

Кто рождается?

Олигофрены. Дети с врожденными умственными недостатками.

Но даже если это обнесет, дай бог, что будет там, в будущем, когда, отнятые государством у пьянствующих матерей, их дети станут взрослыми? Что станет с их детьми? С детьми их детей?

Безответственность бывает разной. Есть безответственность, наказуемая самыми строгими статьями закона, — безответственность, ведущая к преступлению, безответственность, за которую лишают свободы. Но нет безответственности страшнее, чем бездумность женщины, называющей себя матерью в пьяном, угарном чаду и в пьяном, угарном чаду избирающей это безмерно ответственное назначение.

Она не прихоть свою исполняет, не желание, нет.

Она стреляет из бесчеловечного дальнобойного орудия — стреляет в будущее и, кто знает, может, даже в вечность, чтобы и по вечности этой бродили страшные, трясущие головой, с вылезшими, бессмысленными глазами, тупыми, тяжелыми подбородками и узкими лбами ее выродившиеся пра-пра-правнуки...

Залп этот долгов, протяжен, веерообразен: вливаясь в другие, не зараженные водкой, крови, он коверкает судьбы ни в чем не повинных, никакой беды не ждущих людей.

Это не слова, не лозунги, не способ устрашения слабонервных.

Десять — пятнадцать процентов детей из Дома ребенка, где работает моя Вера Надеждовна, увозят потом в специальные детские дома для умственно отсталых.

А какие тяжелые остальные ребятишки!

Вера Надеждовна обучает медицинский персонал и нянечек, как работать с малышкой — как учить их гулить, ползать, лепетать, дальше — ходить и говорить. Потом она проверяет состояние детей, уровень их, если хотите, подготовленности, уровень развития. Хоть она и не врач, а лишь педагог — врачи констатируют это само собой, в особых, на каждого ребенка, делах, — не заметить отставание развития невозможно: в шесть месяцев дети лежат пластом, хотя при нормальном развитии в семь-восемь должны уже сидеть. В три года, к «окончанию» Дома ребенка, многие из них не способны даже произнести связное предложение.

Вера Надеждовна:

— Обездоленность наших детей в том, что нет над ними материнских рук.

Нет и не может быть запретных тем, когда думаешь о счастье ребенка, о счастье будущего человека, о его здоровье — физическом и духовном. И потому я вынужден сказать еще об одном, чем сыт по горло любой Дом ребенка. Это плоды неграмотности, непросвещенности.

Речь идет о нежелательной беременности, но тут — медицинский, а потому неточный термин применительно к тому явлению, чьи результаты хлебает Дом ребенка. Слово «нежелательная» в медицинском термине имеет вполне точное наклонение: здоровье женщины, ее организм не всегда готов исполнить материнские обязанности, потому такой и термин. У нас же речь идет о нежеланной, точнее еще — нежелаемой беременности. Когда вместо того, чтобы обратиться к врачу, получить грамотный совет, а затем принять решение, женщина, как правило, молодая, слушает безграмотные советы подружек да старушек, глотает неведомые таблетки, глушит ребенка в себе самой, да так — по неграмотности и глупости, взятым вместе, — и рождает его, оглушенного, отравленного, искалеченного.

О самом печальном я умолчу, это в ведомстве не таких уж частых, хотя и вовсе не редких медицинских учреждений, где люди — врачи,

медсестры, нянечки — жизни свои кладут во имя травленных и калеченых детей. Разговор о тех, кого обносит самая тяжелая участь — лишь «осколками» задевает.

Вот история одного, по имени Рома, Роман, значит: подчеркну — типичного из типичных.

Начало: родился недоношенным, двадцати семи недель вместо сорока, вес всего 1700 граммов, длина — 38 сантиметров. Все это означало, что уход требуется особый, питание — специальное, медицинские меры — экстраординарные. И первое, самое главное — материнское молоко, материнская забота и ласка.

А он с рождения на искусственном вскармливании. В Дом ребенка поступил трех месяцев, по «договору».

Как же тяжек этот односторонний договор для тех, кто должен был заменить Роме мать, сколько же бескорыстия, самоотверженности, желания помочь в этом листке бумаги, коли говорить об обязательствах государства и все тех же женщин из Дома, которые государство представляют собственными руками!..

Записи о Роме перед «выпуском».

Начал переворачиваться в восемь месяцев, голову держать — в девять, сидеть — в год, стоять возле барьера в год и три месяца, ходить — в год и восемь месяцев, говорить первые легкие слова — в два года. И все это — результат материнского отсутствия, той самой печально нежеланной беременности.

Раннее детство — залог развития, а отсюда залог бодрости или вялости, радостного, осознанного, или тусклого, приходящего как бы сквозь стену, миропонимания. Если быть строгим и предельно честным, там, в эти первые годы жизни, закладывается или полноценное или неполноценное, болезненное, а значит, ущербное развитие.

Вот конкретный вывод из трехлетнего Роминого жизнеописания: в результате нежелаемой беременности, маминых неуклюжих попыток избавиться от него и преждевременного рождения — слабость, предрасположенность к простудам, целый реестр перенесенных к трем годам болезней: энцефалопатия смешанного генеза, синдром вялости, амфалит, двусторонняя пневмония, железодефицитная анемия, трахеобронхит и уж, конечно же, ОРЗ.

Не надо сильной медицинской образованности, чтобы понять, сколько бед пришлось вынести малышу. Я видел его. Милая мордашка, с чуть притупленной для подобного возраста живостью. Врачи, сестры, нянечки подтянули его и, представьте, подготовили, чтобы вернуть — согласно условиям договора — маме. Мама за три года не нашла и часу, чтобы повидать сына. К той поре, когда требовалось исполнить условия обязательства, ее не оказалось дома: она уехала в отпуск.

Нежеланный так и остался нежеланным, несмотря на старания женских рук.

Вера Надеждовна:

— Мы, конечно, знаем, что детям у нас хорошо, но лишь в сравнении с жизнью семей, откуда они к нам попали. Знали бы вы, как расцветают наши бутончики, когда их коснется настоящее тепло...

Настоящее тепло.

Думая о нем, первая мысль, какая стучит в голову, — о неравновесии, о вечном неравновесии в этом странном мире.

Одной счастье дано в руки — она, слепая, счастье за беду признает, понять, глупая, не может, что минутная душевная неуютность, которая ей досталась, минует, забудется, а вечное, непреходящее — жизнь маленького существа, любовь, материнство — они навеки, навсегда; это и есть подлинная и великая ценность.

Другой мудрость эта ясна, потому что выстрадана в долгих муках и тщетном ожидании, а вот теплого дыхания под рукой, милого, невнятного гульканья, ощущения тока живительного, которым можно означить посасывание мягкими и нежными губами материнского молока, — не дано, что делать, бывает же так немилосердна природа к иной женщине!

И вот есть очередь — в каждом, почитай, значительном городке.

Очередь к весам этим, где любовь одних стремится уравновесить нелюбовь других, где необоримая жажда быть матерью стремится утолить себя обесцененным, непознанным, отвергнутым благом, где доброта людская выравнивает тяжесть неправедных гирь несправедливости и отчуждения, — очередь к весам равновесия между злом и сердечностью не угасает, не прерывается, не тает.

И вот настает день, когда к малышу приходит женщина и говорит, вся в слезах:

— Доченька, я за тобой пришла, собирайся скорей!

Немыслимое, совершенно непонятное дело, откуда малыши, двух- и трехлетки, понимают и ждут этого! Ведь и женщины и мужчины, решившие усыновить или удочерить ребенка, говорят эти слова без лишних свидетелей, в кабинете главврача, например, и ребятишек стараются поскорей убрать с глаз остальной ребятни, чтоб поспокойней, чтоб без слез, — а вот, поди ж ты, неясными, невидимыми флюидами, что ли, какими, невидимыми золотыми нитями — но вот передается, протягивается от тех, кто ушел, к тем, кто остался, ощущение вечного ожидания, вечного желания, бесконечной мечты: вот войдет в группу человек — мужчина, а лучше — женщина, и скажет:

— Где тут мой сынок?

— Заждалась, моя доченька!

Они глядят во все глаза на всякого входящего.

И каждому мужчине говорят, чуть обождав:

— Папа!

И каждую женщину зовут, взглядевшись:

— Мама!

Да, они расцветают, те, кого усыновили, удочерили.

Вера Надеждовна:

— За полгода происходят поразительные метаморфозы. Отставшие в развитии на год, полтора догоняют своих сверстников из обычных семей. Но статистика этого совершенно конкретного Дома ребенка фиксирует следующее: половина всех детей сдана сюда до трех лет, но вот заберут к трем годам домой, выполняют условия договора лишь единицы. Еще несколько малышей усыновят, удочерят — этим повезет больше всего. Ведь они долгожданные.

Кто усыновители? Какие они?

Люди не вполне юные — все больше к тридцати. Старше бывают реже, и это понятно. К сорока, а то и к пятидесяти жизнь людей окончательно установилась, ломать ее бывает сложнее, да это и рискованно — в пятьдесят становится родителем маленького ребенка — не у всякого хватит сил, а порой и жизни, чтобы успеть поставить малыша на ноги, выпустить в мир, вырастить до полной самостоятельности.

Так что сама жизнь — и я с ней вполне согласен — определила оптимальный возраст родителей, решивших взять ребенка. Раньше — нельзя, еще многое неясно, в том числе между самими супругами, нет еще семейной стабильности, в том числе и материальной, а к тридцати все прояснилось, и, если своих детей нет, надо решаться: или сейчас, или никогда.

О, женщины, исполнившие чужой долг, — да будут благословенны ваши имена; женщины, не родившие, но воспитавшие, — да славится ваш неуголизм, ваша самоотверженность, готовность одарить теплом и лаской дитя, созданное другою; да будет полной всегда великая чаша вашего материнства!

Легко ли, просто ли стать хорошей матерью не тобой рожденного ребенка? Думаю, мужской этот вопрос, безответный. Чувство материнства лишено практицизма пользы или непользы, расчета простоты и сложности, как всякое, впрочем, высокое чувство. Не «легко», не «просто» — слова эти не подходят в суждениях на такую тему. Есть или нет — и все. Есть или нет это чувство, которое начисто лишено всякой страховки, оглядки, расчета.

Коли женщина решила стать матерью, хоть и не своего ребенка, материнский инстинкт в ней точно тот же, если бы она приняла решение этого ребенка родить сама. И уж коли решила, то разве думает кто-то: трудно тебе или легко, просто или сложно? Появилось дитя, и все этим сказано — и радость, и приговор тут, в желании и решении, сразу заключены.

Уже я сказал: есть очередь в здравотделе. Характеристики, справки о здоровье и жилплощади, разные остальные бумаги. Но есть еще очередь сердца, неофициальная, и о ней надобно написать прежде всего.

Толкуя с Верой Надеждовой, передвигаясь из комнаты в комнату, из группы в группу, видел я женщин — постарше и помоложе, и проводница моя, понизив голос, не раз и не два говорила мне: — И эта тоже. И эта...

Помоложе и постарше, хрупкие, худенькие и поплотнее, разноликие и, ясное дело, с характерами непохожими, все они тем не менее чем-то походили друг на друга, что-то общее было в выражении лиц, точнее — общее было, наверное, в состоянии души, и уже состояние души отражалось лицом: ожидание, твердость и благодарение, странно смешиваясь между собой, рождали тихую, но какую-то глубокую улыбку. Было бы высокопарностью и неправдой сравнивать эту улыбку с выражением лица мадонны, хотя стереотип ассоциаций и подталкивал к такой параллели. Но нет, здесь все выходило проще и правдивее: принимая решение любви, о высоком не думают; напротив, думают о практическом, о, если хотите, обыкновенном.

Но кто же эти женщины?

Бросив любимое дело, бросив все, кроме главной своей цели, они идут сюда работать нянечками — их всегда, кстати, недостает, — чтобы видеть детей, всех детей, чтобы посмотретья к ним, выбрать единственного, а потом уйти с ним отсюда — навсегда.

Так уж выходит — и я полагаю, это справедливо — очередь они как бы минуют. Кстати, об этой очереди, ее характере. Дети ведь, ясное дело, не предметы, тут не может быть такого положения, когда одного ребенка предлагают нескольким: выбор здесь нравственный, душевный. Так что стихийный женский почин, по которому, все бросив, идут они поработать в Дом ребенка на самую неприятную, самую хлопотную и самую трудную службу, надо только приветствовать и поддерживать. Все, что не слепо, все, что серьезно и обдуманно, — надо поддерживать в этом Доме, всему помогать.

Женщина, решившая взять ребенка, тут как бы окунается с головой в правду — трудную правду. Понимает, какие дети, узнает — чьи. Укрепляется душой и сердцем в понимании, сколько надо отдать своему будущему сыну, своей завтрашней дочке. Что и говорить, есть возможность взвесить на весах собственной совести силы свои, свои душевные возможности, свою решимость.

Вера Надеждовна говорит, что не помнит случая, когда женщина, решившая исполнить долг, отступала бы, ушла, передумав.

Много, много вчерашних малышей, теперь уже подростков, а то и вовсе взрослых, самостоятельных, имеющих свои семьи, своих детей, и знать не знают, что подняты они из покинутости, из забвения, из предательства — сердцем и святой силой материнства не рожавших их женщин.

На эту тему порой возникают суждения — разнообразные, противоречивые точки зрения, исповедующие — надо или не надо знать повзрослевшему ребенку свою реальную, подлинную судьбу.

Я за святое неведение, за возвышающую душу неправду, хотя, что и говорить, в соседствующих, рядом лежащих историях и иных возрастных — для детей — группах правда — единственное болеутоляющее лекарство. Что же касается детей, усыновленных при собственноручном «отказничестве» их действительных матерей, право нравственного и общественного вето здесь должно действовать безотказно и всегда. Даже мать, вырастившая ребенка, не может владеть правом нарушения молчания.

Может, следует брать документально такое обязательство?

Могут спросить, не надуманный ли это вопрос. Ведь здравый смысл, разум и много иных добродетельных качеств не позволяют матери идти против ребенка, да, в сущности, и против себя. Но жизнь сложна. Сложнее иных наших самых чистых намерений.

Бывает, распадаются семьи, где есть усыновленный ребенок, и отец мстит матери таким вот болезненным, тяжким способом. Бывает, мать делится тайной с друзьями, а они предают. Да, собственно, тайну эту трудно сохранить в наш век плотных человеческих взаимосвязей.

Так что в случае, где родители стремятся к тайне усыновления, надо бы создать законодательную основу для ее сохранения. Половина ведь дела сделана — чей он на самом деле, ребенок не знает. Хорошо бы сохранить и вторую половину тайны.

Конечно, усыновленный, удочеренный ребенок чаще всего, став взрослым, и слышать не желает о реальной родительнице, даже если и узнает свою тайну. Но жизнь действительно сложна, однозначный и желательный вариант не всегда единствен, а потому додумать и дорешить эту проблему, по моему разумению, стоило бы.

Я говорю об этом так настойчиво потому, что, получив разрешение, зашел в один дом, точнее, комнату, чтобы утвердиться в подлинном, бескорыстном чувстве.

Им было уже за тридцать, я знал это заранее, однако отдельной квартиры они еще не имели, хотя очередь уже подходила, и жили в пятнадцатиметровой комнате двухкомнатной квартиры с соседями.

Повод я избрал другой, представился агитатором, благо дело было накануне местных выборов, точнее, переизбрания выбывшего депутата, и я зашел в эту комнату под вечер, чтобы хоть краем глаза, хоть ненадолго повидать добрых людей и попытаться, если выйдет, определить меру их счастья.

Комната была чистой, ухоженной, хотя обставленной скромно, даже чуть скромнее скромного по нынешним временам: двуспальная железная кровать с круглыми никелированными набалдашниками, на ней гора расшитых подушек мал мала меньше, видать следы бездетных лет, зато для ребенка кроватка деревянная, по самому последнему образцу, рядом детский низенький столик с игрушками и цветными книжками — все это не лежало в музейном порядке, а было небрежно раскидано; ясно, что тут царствовал маленький, впрочем, подросток уже властитель дома.

Хозяин сидел в майке, чинил настольную лампу, увидев постороннего, накинуд рубашку, приветливо шагнул навстречу, подставил стул. Хозяйка быстро навела порядок на детском столике, подала мне повод заговорить о сыне.

— Озорует? — спросил я.

— Ой, что вы! — мягко, как-то сразу углубляясь в себя, в свои мысли, заговорила она. — Он у нас не баловник, — и тут же сама себе запротиворечила, — но какой же ребенок без баловства? От этого только радость.

Муж молчал, едва улыбаясь, поглядывал на жену, поглядывал на игрушки, на столик, на детскую деревянную кровать, потом пояснил, что скоро вот получат отдельную квартиру, мебель обновят, возможность такая есть, просто ждут ордера.

— А малышу, — спросил я, — обновили, ордера не дожидаясь?

— Ну, это понятно, — удивился муж, и снова блуждающая улыбка появилась на его лице: жена протягивала мне стопку детских акварельных рисунков. Как всегда у всех детей, красное солнце во всю страницу, зеленые солдаты на синей траве, грузовик последней марки — КамАЗ с прицепом.

В тот миг послышался вой с лестничной площадки, торопливый, не желающий ждать звонок, мать кинулась в прихожую, втащила заревавшего пацана. Вой переходил в звук сирены — протяжный, не меняющий тона, на коленке горела ссадина, и женщина гладила мальчишку, приговаривая:

— У серой вороны боли, у сороки-белобоки боли, у злой собаки боли, а у Васеньки — пройди!

Откуда-то из-под ее ладони сверкнул блестящий глаз, властитель, видно, только заметил меня, вой сирены тотчас смолк, и не то чтобы испуганный, скорее смущенный голосишко, хриловатый от воя, но совершенно не страдающий, неожиданно произнес:

— Ты чо, мам, я ведь не маленький!

Нет, что там толковать, велик Толстой: все счастливые семьи похожи друг на друга.

И не нужна, вовсе не нужна этому счастью нечаянно выболтанная правда.

Да сохранится тайна нежности и любви...

Опять и опять — помимо воли, помимо желанья — мысль возвращается на старый круг.

— Выходит, материнство, — спрашиваю я Веру Надеждовну, — вовсе не обязательно связано с рождением собственного ребенка? И мать не та, что родила, а та, которая вырастила? Можно быть матерью, не родив, но воспитав ребенка, и не стать матерью, только лишь родив?

— Да, — отвечает она. — По нашему опыту — да. Материнство, — помедлив, произносит она важную фразу, — состояние не родственное,

не физиологическое, а нравственное. Материнство, кроме всего прочего, еще и состояние души.

Как удивительна жизнь! Какие парадоксы подбрасывает она — только поспевай думать.

Место нянечки в Доме ребенка оказывается плоскостью, где уживаются свет и тень — враз, не исключая, не отталкивая друг друга. Про свет — все ясно. Это женщины, ищущие материнства.

А тень?

Матери, лишенные материнства.

Что делать, бывает — и нередко — так поворачивает жизнь, на такую колею, где однозначному суждению не место. И вот Дом ребенка берет в нянечки настоящую мать, лишенную родительских прав. Почему? И правильно ли это?

Дом ребенка не педагогическое, а медицинское учреждение, особых педагогических задач перед собой здесь не ставят, к тому же рассчитанных на беспутных матерей, но, как говорилось уже, нянечек не хватает. И выходит, опять жизнь как бы сама, стихийно правит событиями — порой неплохо, убедительно правит.

Суд лишил женщину родительских прав. Некоторых, даже пьющих, это крепко прошибает: что и говорить, лекарство сильное, урок поучительный. Погоревав, попив, порыдав, заправившись, как правило, еще разок, для храбрости, иная мать спешит навестить свое дитя, и не раз во дворе Дома разворачивались сцены, где горестное крепко мешалось с недостойным.

Своя вина — позади, обочь, ее не видно, и вот стучит мать, опозорившая сама себя, в запертую дверь: «Отдайте ребенка! Покажите хотя бы, смилуйтесь».

По закону положено вызвать милицию, бывало, впрочем, и так. Но, бывало, события разворачивались по-иному, это уж зависит от того, чего в женщине больше — материнства или пьянства.

После истерики, после скандала, бывало, приходили притихшие, покорные, пристыженные. Клянчили: возьмите хоть кем, лишь бы при нем, при родименьком.

Пробовали, ставили условие: хоть раз выпьешь, ноги твоей здесь не будет. Рисковали. И риск оправдывался.

Что значит — открыть дверь такой матери? Да прежде всего это значит: она попадает в коллектив, в обстановку, в климат соответствующий, а климат тут означает только одно: неугасающий огонь любви к чужому ребенку, который становится родным, неутихающий — женский же — суд над матерями, которые сумели, смогли или лишиться собственных детей, или бросить их.

Поговорят о том о сем женщины — врачи, сестры, нянечки, — поманут, может, вчерашнюю передачу по телевизору, новый фильм, какая у кого обнова да семейные новости, а потом снова на старый круг: все о ребятишках да о ребятишках, о здоровье их, да кто заболел, а кого уже выходили, о совести людской и об отсутствии ее.

Женская среда, если это нормальная среда, без конца жалеет ребенка, щадит его, обсуждает бесчисленные варианты помощи, и в среде благонаправленной этой жалости к ее, в числе остальных, ребенку мать, лишенная своих прав, если даже и не до конца, если даже и неглубоко, а все же устыдится жизни своей, ее образа — всенепременно устыдится. Другое дело, что результат стыда тоже бывает разный. Иная вовсе больше не придет, и кто-то увидит ее на улице в непотребном, хуже прежнего виде. Другая исчезнет на два дня, ухнет в прежнюю муть, потом назад выскочит — явится побитая, примолкшая, и это вроде катарсиса, очищения — трет тряпкой полы, работает, себя не щадя, наоборот, кажется, даже истязая. Непросто перевоспитание самосознанием, нет у него четко означенных берегов, бывает и на-марку все идет, ну что поделаешь?

В конце концов конкретной педагогической цели — перевоспитать взрослому — тут никто не преследует, скажем еще раз, но, коли дают человеку шанс и он этот шанс примет, плохого тут не отыщешь, а польза громадная.

Да, польза великая. Еще один несмышлениш получает возможность вернуться к матери.

И вот вам картинка — реальная, из жизни Дома.

Прибирают малышей две нянечки. Моют, к примеру, им ноги, перед тем как спать уложить.

Все идет обычно, плещет вода в тазике, приговаривают женщины свои извечные, необязательные, тихие слова, приговаривают, бормочут малыши в ответ, идет разговор — не разговор, а утешение, и вдруг одна нянечка обхватит малышку, прижмет к себе, а у самой — слезы из глаз.

Другая тихо, понимая, подойдет, ребенка отнимет, ножки домоет, оботрет, в постель отнесет, а потом первую обнимет — и всплакнут обе.

Стоят вот так, обнявшись, плачут.

Первая — мать; малыш, над которым заплакала, ее собственный, ею рожденный, да не сохранный: вышла из доверия у государства.

Вторая — нарочно сюда поступила, чтоб счастье свое найти.

Одна — чтоб найти, другая — чтоб вернуть.

Но не надо слишком обнадеживаться: такие картинки — редкость.

Все меньше их, к общей нашей печали.

Все чаще — совсем другие.

Вера Надеждовна у себя сидела, какие-то документы готовила, вдруг женщина на пороге, не одна, с подружкой, видать, чтоб, значит, за компанию, нахрапом, оно этак легче.

— Как бы мне бумажку взять, что у меня сын дурачок?

На такое сразу не ответишь. Молчание.

— Вы кто?

Такая-то.

— Почему же он дурачок?

— А разве нет?

— Посмотрите.

Накинула на себя пальто, зима была, лежит морозец. Хитрость очевидна: за справкой явилась, чтоб не платить алименты. Но по дороге спрашивает: какой он из себя, мой-то?

Веру Надеждовну малыш тот, Ванечка, любил, выделял из всех, бежал на голос, и она его лаской не обходила — поцелует, погладит, протянет конфетку.

— Какой? — переспросила. — А вот такой. Кто первый ко мне побежит, тот ваш сын.

Вышли на улицу, Вера Надеждовна громко крикнула малышам:

— Здравствуйте, ребятки!

Сама думает: вдруг не побежит? Страшно — ничего, неприятно перед этой мамашей. Но малыш не подвел. Первый серым шариком навстречу покатился — впереди всей гурьбы.

Вера Надеждовна к нему бросилась, наклонилась, схватила в охапку — слезы навернулись. Поглядела вверх, на мать, она же тут, сбоку стоит — глаза холодные, как ледышки.

— Вот он, наш любимец, — говорит Вера Надеждовна. — Хороший мальчик! Видите, какой!

А та отвечает, вернее, спрашивает:

— Значит, нельзя?

— Почему же? Можно. Напишите отказ, и никаких вам забот.

Позвали патронажную сестру, ушли к нотариусу, через час возвращается одна патронажная, с порога говорит:

— Вот, несу Ванюшину судьбу.

Что же, пожалуй, это все.

Картина, написанная мною, без строгой рамы, кое-где непрописанность, лишь отдельные штрихи, а то и просто белые места. Оно не закончено, мое полотно; именно к этому — признаюсь — я стремился.

Все сказать невозможно и даже не должно. Нужно оставить воздух, требуется недоговоренность, чтобы тот, кто читает, подумал сам, про свое отношение к тому, что сказано здесь, а тот, кто знает эту печаль, добавил бы свои штрихи к этюду на трудную тему. Про Дом, про его заботы нельзя говорить в завершенном виде, драматизм несостоявшегося — по тем или иным причинам — материнства есть категория, всегда, абсолютно по Толстому, новая, порой неожиданная и уж непременно — неоконченная.

Оконченность, завершенность, итоговость немислимы, пока живы все участники каждой драмы — ведь в их судьбах, в жизни их потомков, даже отдаленных, внешне благополучных, долго еще может таиться драматизм ошибок, совершенных прародителями.

Всякий, кто против потаенных слез, разочарований, спрятанных в тайный код генетики, обиды на судьбу, субстанцию неконкретную и, таким образом, безответственную, — всякий, кто против неблагополу-

чия в благополучное время, кто против душевной смуты в ясные дни, должен думать о беде, не стыдиться ее присутствия и делать, непременно что-то делать, чтобы болезнь излечить.

Делать — что я разумею под этим, таким понятным словом?

К судьбе, даже самой прямой и самой благополучной, приложено множество рук и забот. Что же можно и нужно сделать, коли судьба человека, начинающего жить, лишена самого главного — корневой системы, без чего и самое простое растение усохнет, погибнет?

Нет, главный корень — при каждом, и опустить это значило бы обуздить проблему, сократить горизонт до размера дверного проема; главный корень — это наша общая жизнь, народное неравнодушие, социальная перспектива, открытые возможности. Но вот ведь какая беда: душевные провалы, пропуски воспитания, простая недобросовестность людей — близких и чужих, — которым доверен воск неустоявшегося сознания, способны, увы, налепить такого, что и самое главное, самое нашенькое способно затмить.

Да что там спорить!

Не вслед за общественным, а рядом с ним ступает семейное, родительское начало. Из родительских уст получает дитя самые изначальные представления об общественном. Так что, если из двух главных корней один, родительский, обрублен, ствол, жаждущий живительных соков, половину их недобирает.

Что же делать? Сколько и каких рук должны спасти судьбу с ополовиненными корнями? Как и все в воспитании, нет на это одного, точного и единственно пригодного ответа. Взгляд мой — к Вере Надеждовне, не зря же я выбрал ей это имя и это отчество.

Верить, надеяться и любить — не такое уж малое дело, но если надежда, вера, любовь еще разумеют поступки, а не одни лишь, хоть и благородные, чувства, мы на пути к истине и действительному добру.

Была весна, пожалуй, школьные каникулы, часа четыре дня, еще светло, даже солнечно. Погоду этой порой ломает — глядишь, небо голубого батиста, мягкое, теплое, снег серый, ноздреватый, тяжелый от воды, нажми — истает ручьем, и тут же, без перехода всякого, задует вдруг ветер, застучит голыми ветвями по окну, заскоблит так, что не по себе становится: взглядываешь на улицу с испугом, мурашки ползут по плечам. Так вот и тогда.

Вера Надеждовна за окно поглядывала, вначале радуясь: солнышко прогрело тишину, по двору бродил какой-то мальчишка, лет пятнадцати, не из соседских, незнакомый и как-то странно поглядывал на здание, словно что-то или кого-то искал.

Она занималась своими делами — писала, говорила, звонила, — снова поглядывала на улицу и опять видела парнишку — его тоненькое пальтецо, серую ушанку и растоптанные, какие-то казенные, ботинки. Может, он бы так и не решился войти в Дом, его подтолкнула погода.

Стеганула снежная крупа, лужи вмиг покрылись льдом, солнце исчезло, а небо придавило землю мохнатыми, грузными тучами.

Вера Надеждовна увидела, как мальчик на что-то решился, двинулся к входной двери, и вышла в коридор, пошла ему навстречу.

— Здравствуйте.

Посинелые руки, побелевшие костяшки пальцев. Голос напряженный, чуточку испуганный, звенит.

— Здравствуй.

— А кто здесь живет?

Волнуется. Но даже не волнуясь, как правильно задать вопрос об этом?

— Здесь кто-нибудь живет?.. Ну, какие-нибудь люди? Это дом или учреждение? Может быть, нянечка? Или сторож?

— Учреждение.

— Ага...

Он топтался на месте, хотя получил ясный ответ, и Вера Надеждовна потихоньку начала догадываться, в чем дело.

— Пройди, поговорим! — предложила она, не дожидаясь ответа, пошла к кабинету — за спиной глухо постукивали растоптанные ботинки.

— Садись! — Он сел, на лице смущение и неловкость. — Так что тебя интересует?

— Я видел свое свидетельство о рождении, там, на обложке, стоит штамп о прописке. По этому адресу. Может, тут раньше был дом?

Нет, никогда тут не был жилой дом. Всегда только учреждение — Дом ребенка. Потихоньку, по шажочку, приближалась она к пареньку, видела, как все ниже и ниже опускает он голову.

Душа ее сжималась: что же за роль выбрала она себе? Зачем? Не легче ли солгать: да, здесь раньше, кажется, кто-то жил. Или еще проще: здесь был жилой дом, его снесли, и вот... Но мальчик ищет родителей, и, раз он решил, эта страсть к истине сильнее человека, он придет снова, уже не к ней, не сейчас придет, так спустя годы. Боль отложенная, припрятанная до поры — легче ли она, кто это знает?

Потом спустя время возникнет правильное решение: во время спасительной неправды ни за что не ставить милицейский штамп о прописке прямо на свидетельство о рождении. Штампик ставят теперь на листок, приклеенный к свидетельству. Оно не паспорт, в конце концов листок можно — и нужно — оторвать, охранив чистотой первый в жизни человека официальный документ.

Но это — потом. Тогда мальчик молчал, опустив голову.

Что должна была делать она?

Вмешаться в обстоятельства, включить себя, свои поступки и свое отношение. Все вместе это называется человеческим участием.

Вера Надеждовна знала возможные пути малышни — они не запутанны, не сложны. После Дома — другой дом, детский, дошкольный, если здоровье и развитие в норме, он один и неподалеку, потом

детдом школьный, а после восьмилетки — впрочем, после восьмилетки вот он, тут, на табурете, искать не надо: учиться и живет в школе-интернате.

Выспросила про самое последнее и, значит, главное: зовут Колей, интернат там-то. По праздникам и выходным ребята разбредаются кто куда — к бабушкам, к теткам, друзьям, в школе их остается немного, и вот он добился разрешения поехать в город, погулять, сходить в театр или киношку. А на душе было это, она понимала его, — узнать про родных.

Расстались знакомыми, не более того, но что значит знакомство с новым, взрослым человеком для одинокого парнишки шестнадцати с половиной лет?

Про возраст и про то, что учиться он в девятом классе, она узнала в первом разговоре, к которому про себя без конца возвращалась. Через год мальчишке начинать собственную, без опыта, жизнь, а он вот растерянный, тихий, не вполне уверенный в себе.

До сих пор жил, как жилось, не крепко, пожалуй, задумываясь над возможным, а теперь наступает время выбора. Ищет родных — что же это иное, если не интуитивный, неосознанный поиск опоры и, выходит, выбора. Сам не понимает: ищет других, но по правде-то ищет самого себя. Смысла собственного присутствия на этой земле: чей я, для чего?

Нет, Вера Надеждовна понимала, что пока все эти мысли не настигли Колю, если они и присутствуют в нем, то неосознанно, недодуманы до предельной ясности, это придет с годами, а чтоб пришло добрее, многозначнее — надо ему помогать.

— Приходи, обязательно приходи, — говорила на прощание, а чтобы хоть как-то привязать, заставить прийти не по охоте, так по обязанности, сунула книжку какую-то. — В воскресенье и приходи!

Он пришел. Как будто умытый.

Когда радостей мало, самая негромкая звучит фанфарами, искрится красками, обещает, манит. Знакомство со взрослой женщиной, новое знакомство, было в радость.

Она уже знала, что делать. Привела домой. Усадила за стол: семейный обед — муж, дочка, сама, четвертый — Коля.

Это уже серьезная привязка, если, конечно, все порядочно, по высшему счету.

Что это значит?

А то, что человек в этом возрасте и этом состоянии предельно обостренно чувствует всякую фальшь, и самый высший грех, который возможен тут, — неискренность. Не умом, не слухом, душой и сердцем слушает и слышит он всякое слово, интонацию, видит выражение лица не только в определенных, законченных формах — улыбка, сердитость, сосредоточенность, — но и в едва уловимых нюансах, которых обычный человек в обычных ситуациях попросту не замечает.

Какие чувства труднее всего спрятать? Жалость?

Нет, для этого хватает житейского опыта. Сострадание, сочувствие — вот что спрятать труднее всего, и старание не всегда помогает при этом. Может, из-за того, что сострадание и сочувствие самые естественные из всех?

Говорили о жизни, говорили о книгах, говорили о фильмах и так, о всяких пустяках, не избегали говорить и о Колиной интернатовской, а перед тем — детдомовской жизни: ровно, без усиленного внимания и повышенного интереса.

Хочу заметить, между прочим, считая это важным обстоятельством: Вера Надеждовна — женщина отнюдь не экзальтированная, ее эмоциональность не взрывчата, не спонтанна; чувства таких людей живут долго, если не постоянно, и температура этих чувств осмысленно высока. На таких женщин можно положиться — и в работе и во всем остальном.

Так вот, не было причитаний, жалости, аффектации.

Было сострадание, сочувствие — скрытое, а потому — действенное. Все было подлинным, а значит — сильным.

Вера Надеждовна съездила в интернат, представилась, попросила не беспокоиться за Колю, когда уезжает в город, и на выходные отпущать со спокойным сердцем: он у друзей.

Говорили они и про Дом, про малышей, которые прописаны там, про их матерей. Говорили, Коля спрашивал. Это не были расспросы с пристрастием: многое хранила даже не память, нет, — ощущение. Он как бы уточнял то, что берегло чувство.

Ощущение из главных: их было всегда много, он не помнил одиночества — не понимал, что это значит — в буквальном смысле слова. Еще помнились праздники — их ритмичное постоянство. Надо было набраться терпения, и снова являлся Дед Мороз с мешком гостинцев — в серебряных, золотых обертках еще и конфеты, хотя даже сами бумажки были замечательной ценностью. А если подождать еще — за окном играла музыка: бухал барабан и натужно раздувал щеки трубач, приходил Первомай с праздничным обедом. А осенью на улице развешивали флаги — горел кумачом Октябрь.

Потом он помнил автобусы, нестрашные, но неотвратимые переезды, после которых все начиналось по-новому, будто бы совсем не продолжая старое: собирать начинали задолго, подгоняли обувь, одежду, пальтишки, потом сажали в автобус и куда-то везли. Это ощущение обозначено постепенно: сначала как-то смутно, потом яснее, наконец, автобус запомнился совсем ясно, со всеми подробностями, главное среди которых — цвет. Автобус был сине-зеленым.

Слушая Колю, повторяя затем, после отъезда, его слова, Вера Надеждовна, как археолог, восстанавливала про себя пласты Колиной жизни. Автобусы — это переезды: из Дома — в дошкольный детдом, из дошкольного — в школьный, затем еще в один, наконец — в интернат, мало чем отличимый от школьного детдома. Девятым и десятым классом.

Они сближались от встречи к встрече. Тяжести Вера Надеждовна не ощущала, но вот облегчение почувствовала, поняла. У Коли складывались свои отношения с мужем и с дочкой, в которых она могла уже и не участвовать. Он проводил у них выходные, встречи становились привычными.

Но однажды Коля все же спросил:

— Кто мои родители? Где?

Попросил:

— Помогите!

Надо ли?

Она сомневалась, мучила себя вопросами: что это даст? Не станет ли хуже Коле от этого знания? Ясное дело, жизнь его будет сложнее, возникнут новые, самые трудные отношения, которых ведь избегали многие годы взрослые, а потому — сознательные люди.

Но Колина судьба, помимо воли, уже была для Веры Надеждовны чем-то гораздо большим, чем просто человеческая история. Он стал как бы концентрированным выражением смысла ее работы. А значит, смысла жизни. До сих пор она видела и знала лишь обездоленных малышей. И вот наконец встретила малыша выросшего. Судьба покинутого человека предстала перед ней пусть не в законченном, так в разившемся виде. И ей самой хотелось узнать — не столько для Коли, сколько для себя, — как выглядят, что думают, что говорят и чувствуют родители, забывшие о собственном сыне. Как так устроены они? И что за непоправимые беды толкают их на такие беспощадные решения?

В архиве Дома обнаружила Колину папочку, ужаснулась — не в первый, конечно, раз, но по-новому: перед глазами все Коля стоял, каким вначале увидела, продрогший, в стоптанных ботинках, с побелевшими костяшками сжатых кулаков, с напуганным, ищущим взглядом. Еще бы! Он надеется, а его... Документ из роддома: мать — такая-то, — родив ребенка, через несколько дней ушла, оставив его. Указан ее адрес. Вере Надеждовне повезло: это был заводской район, и люди, жившие по тому адресу, откуда ушла в роддом молодая женщина, меняя комнаты, улучшая свою жизнь, двигались по пяточку заводских застроек. Так что, начав свой поиск, перебрав несколько домовых книг и добравшись до последней прописки, Вера Надеждовна не сошла, как говорится, с места. Но пошла вначале все же по старому адресу. И опять не ошиблась. Женщины ведь народ памятный и на соседей, на их жизнь. Вспомнили старушки, сидевшие у крыльца: да, здесь жили такие — мать, взрослый сын, и жила у них, помнится, молодая, вроде ждала ребенка. Потом исчезла. Но не жена, нет, тому взрослому сыну — не жена.

Набирала телефон Колиного отца, бесконечно волнуясь. Но характера хватало — голос спокойный, даже чуточку официальный.

— Валентин Григорьевич? Вам звонит такая-то. Прошу вас о встрече.

— А что такое? Что вы хотите?

— Это не телефонный и очень личный разговор.

Хохоток по ту сторону провода: заинтриговало. Побеждает, однако, другое, поже — характер.

— Я уезжаю в командировку, мне некогда, если вам нужно, позвоните через полмесяца. — А номер телефона все-таки записал.

Звонит через двадцать минут: не устоял перед женским приглашением, встречу назначил, смешно сказать, в пивбаре.

Первое впечатление оказалось самым точным. Внешне — импозантный, солидный, значительный и размерами и какой-то, как бы потаенной, скрытой значительностью.

Но это пока молчит. Стоит раскрыть рот, и человек уменьшается до размеров лягушки: самоуверенный, самовлюбленный, нагло-пустой.

В пивбаре провел куда-то в подвал, где чмокают и пыхтят насосы. Заметила: подмигнул женщинам в белых халатах — даже встречу эту проводил напоказ, с каким-то глупым смыслом.

Сидеть было негде. Он оперся о бочки, самодовольно расплылся — вон сколько вариантов задала она Колиному отцу, только соображай.

— Чем обязан?

— У вас есть сын?

Щеки съехали вниз, опали.

— А вы — кто?

Назвала должность, место работы. Про Колю пока ни слова.

Фанаберия снова взяла верх, да, это была обыкновенная фанаберия, а не душевная широта, не мужское мужество, как он ни старался, — ведь за мужеством признания всегда должны стоять поступки, а тут одна болтовня.

— Да, это я виноват, Валерия тут ни при чем! Это я ей сказал: из роддома с ребенком не возвращайся.

Он петушился, распускал павлиний хвост:

— Вы Валерию не судите!

Она попробовала выяснить — не для него, для себя:

— И что же? Вы ни разу не захотели его увидеть? Ни разу не вспомнили?

Но terra incognita, неизвестная территория, оказалась до смешного известной и до крайности узкой:

— Какое ваше дело?

Вот и все. Мелодия для одного пальца. Бездушие предельного эгоизма. Откровенность не мудрости, а бесстыдства и безнаказанности.

Ей хотелось повернуться и уйти. Выдумать какую-нибудь отговорку, мол, встречалась по поручению органов опеки.

Но перед глазами стоял Коля — замерзший мальчишка в растоптанных ботинках, его испуганные глаза. И сознание, что Коля не

успокоится. Понимание: ему надо пройти до конца свою дорогу, раз уже отправился по ней. Жизнь сама расставит ударения на важных словах и главных понятиях, безжалостно отбросив ничтожное. Что же делать: поиск истины порой означает разочарование.

— А теперь слушайте.

Пока она рассказывала о Коле — самое необходимое, без подробностей, — лицо его отца не менялось. Похоже, он истратил всю энергию своей воли на то, чтоб уследить за лицом.

Коля учился тогда в десятом, приближалось его семнадцатилетие — она сказала об этом, как бы к этому и сводя весь разговор. Назвала день его рождения — отцу! Оставила телефон.

— Может быть, и следует вам встретиться, — сказала она, поворачиваясь.

Лицо Колиного родителя больше не интересовало ее. Для себя она прояснила все — и навсегда. Теперь оставался Коля, он сам.

Палкин — его фамилия — к Колиному семнадцатилетию объявился, теперь сам попросил свидания, был краток, потому что этот нынешний его поступок получался трусливо-стыдливым: отец боялся встречи с сыном. Впрочем, какой отец, какой сын? Принес двадцать рублей. И шоколадку. Сказал:

— Не решился купить подарок. Не знаю, что покупать.

Когда Вера Надеждовна передавала Коле деньги, ей больше всего хотелось молчать. Но она сказала то, что должна была сказать:

— Видишь, Коля, он все-таки хотел купить тебе подарок.

Палкин собирался с духом еще несколько месяцев. С духом? Вера Надеждовна не надеется на это. Он откладывал встречу, как всякий эгоист откладывает на потом дело, нужное кому-то, а не лично ему.

Однажды позвонил:

— Коля у вас? Дайте ему трубку!

Она повернулась к пареньку. Ну вот! Настал твой час, Коля. Ты сам к этому стремишься.

Поднимается из-за стола медленно, скрипит стулом, едва не опрокидывает его. Как тогда, в коридоре Дома, переступает нерешительно, лицо побелело — совсем полотняное.

Хриплым голосом произносит в трубку:

— Слушаю.

Потом одни междометия:

— Да... Да... Нет...

Наконец, фраза:

— Хорошо. Только я с товарищем.

Он частенько приходил с товарищами — то с Сережкой, то с Васей, то еще с кем-нибудь, в тот день был Василий, и они отправились вдвоем — хорошо, что вдвоем.

Коля как-то притих, спрятался в себя! Она его благословила:

— Ни пуха ни пера.

Он улыбнулся все такой же нерешительной улыбкой.

Вечером Вася вернулся один, сказал, что Колю Палкин оставил ночевать. Вера Надеждовна ни о чем не спрашивала: у Васи спрашивать неприлично, а Коля, если захочет, скажет сам.

Коля вернулся утром ранехонько, ничего особенного не сказал и лишь в обед обратился к ней по-детски наивно:

— Можно, я больше к Палкину не пойду?

Вот и все про отца. Весной, перед окончанием школы, из небытия явилась мать. Постояли друг перед другом — говорить было не о чем. Она сказала, что у нее есть другой ребенок, девочка, она замужем, живет далеко, в каком-то городке на Урале.

Нет, она не плакала и ничего особенного не сказала на прощание. Зачем приезжала? Вера Надеждовна думает, для собственного облегчения. За семнадцать лет, возможно, она и думала о сыне, а теперь вот убедилась, можно и не думать: он совсем взрослый, государство вырастило и выучило его, не пропадет.

Не пропадет, конечно.

После десятилетки он устроился работать в почтовый вагон. Сутки в Москву, с ночевкой там, сутки — обратно. Потом два дня выходных, но он не бездельничает, работает в эти дни там же, на железнодорожном почтамте, грузит посылки. Не для того, чтобы подработать, хотя ему и это очень важно, начинает ведь жизнь с нуля, а для того, чтобы не бездельничать.

Первое время жил в общежитии. Интернат на прощание обеспечил кое-какими вещами, так, сущие пустяки: две простыни, одеяло, наволочка, кое-что из одежды. Ну вот, и в общежитии пропала одна дареная простыня.

Коля переживал. Пришел вечером, охает:

— Надо же, а? У нас в интернате и то никогда ничего не терялось! Это надо же!

Вера Надеждовна улыбалась, глядя на него, действительно, надо же — какой, в сущности, ребенок. И ни дня не жил в семье, в собственном, родном доме.

Сказала ему:

— Знаешь что, Коля, собирай-ка свои вещички и к нам.

— Зачем? — удивился он.

— Жить.

Коля прописан теперь у нее. Живет дома. Из дома идет на работу, домой с работы возвращается.

Что же — как мечталось когда-то — в двухкомнатной квартире теперь появился сын? Сразу взрослый?

Нет, этих мыслей нет ни у нее, ни у ее мужа, ни у Коли. Они живут как близкие и даже родные люди, но говорить об этом не приходится в голову: ведь не говорят же, в самом-то деле, о таком по-настоящему

родные и близкие. Это подразумевается. Без Коли было бы пусто. Он член семьи.

Вот так очень просто и очень обыденно, без экзальтации, без высоких слов Коля нашел свою родную семью.

И если уж употреблять слово «делать», искать доброту не благодушно-словесную, а действенную, то вся его история от нуля до двадцати — теперь ему стукнуло двадцать — и есть противостояние одиночеству и родительскому бесстыдству действенной доброты мудро поступающего человека.

Одно лишь уточнение: поступки Веры Надеждовны вытекают из ее знания, и еще прежде — из ее осознания положения вещей. Из того обстоятельства, что она не просто отбывает службу — пусть и в сложном, а все-таки детском учреждении, — а детям служит душой, сердцем, думает, страдает и, переплавляя все это в себе, поступает в соответствии с мерой справедливости, понятой и прочувствованной глубоко, человечно.

Как она относится к Коле?

Из всех определений мне хочется выбрать именно это: умно.

Умно относится. Видит его целиком, а видеть целиком, — для этого мало одной любви. Нужен ум. Нужен педагогический талант.

Главная Колина проблема — невысокий порог требовательности: к себе, к другим, к жизненной задаче и перспективе. Довольствоваться малым — вроде не такая уж плохая установка, особенно в сравнении с «вещизмом» и рвачеством, которого хватает. Но Колин минимализм граничит с аскетизмом, с «нестремлением» к норме.

Скажем, при разговоре о будущем он совершенно бескорыстно относится к собственной пользе, которая при углублении может, правда, выливаться в понятие выгоды. Но о пользе человеку думать не возбрается, не надо ударяться в ханжество. Особенно Коле, человеку без близких, без поддержки. Все его — при нем.

Вера Надеждовна советует ему подумать о работе, где он получил бы потом комнату, а если женится, квартиру. Разве это рвачество?

Но Колю это не волнует. Зачем? Он спрашивает вполне искренне. «Ну, женюсь, так будем жить в общежитии, разве мало семей живет в общежитиях, в одной комнатке, разделенной занавесочкой?» Это абсолютно искренне.

Еще одна забота — неумело обращается с деньгами. Тоже результат детдомовского воспитания: как бы ни был хорош детский дом, интернат, а там же этих забот нет, не существует практики. Подрабатывал Коля в каникулы, так заработанная десятка — вся его, трать куда хочешь и сразу — жизнь твоя от этого не зависит, ни голодным не останешься, ни голышом: все главные расходы — на государстве.

И вот эта инерция осталась. Не умеет деньгами распоряжаться, не умеет «растягивать» их — от получки до получки. Может истратить

все, не думая ни о чем, а это ведь плохо для самостоятельной, для взрослой жизни.

Неряшлив. Не понимает, к примеру, решительно, как это каждый день мыть ноги и надевать свежие носки. Тоже нет привычки, нет традиции.

Вера Надеждовна про то, какие у Коли есть заботы, мне рассказывала не в первую, а в последнюю очередь, щадя, конечно, паренька, выпячивала его достоинства — они главное, хотя заботят, ясное дело, не плюсы, а минусы. Надо минусы переделать на плюсы — работа чисто материнская, — но Вере Надеждовне, влияя на Колю, приходится сейчас не воспитывать, а уже перевоспитывать. Это — раз. А еще в Колиных недостатках она видит проблемы подготовки к самостоятельной жизни — не только подготовки Коли, а, пожалуй, всех «государственных детей». Это волнует, не может не волновать, это беспокоит, с этим что-то надо делать.

Казалось, уж что-что, а инфантильность не болезнь детдомовских ребят. Ан, нет, она поражена: Коля мечтал — уже после десятилетия — стать кинемехаником. Причина? Не улыбайтесь, вполне серьезно: можно все фильмы бесплатно смотреть.

— Коля! Ну сколько фильмов в месяц ты способен увидеть? Двадцать? Прикинь, посчитай, это же не больше десяти рублей. Разве ты их не заработаешь при любой другой специальности?

Задумался. К сожалению, на эту тему — задумался впервой. Опять пробел интернатовский: некому, видать, было всерьез поговорить с Колей.

Но много хорошего — по большому человеческому счету.

Не жадный, точнее — добрый.

Друга Ваську взяли в армию, он посылает ему бандерольку. С чем бы вы думали? С семечками! Васька там, в армии, по семечкам соскучился, написал в письме, конечно, написал между прочим, а Коля тут же откликается: идет на рынок, упаковывает бандерольку, торопится на почту.

Так получилось, что второй его дружок, Сережка, попал на строительство, живет в общежитии, и, как бывает это порой, никому нет до него дела в этом стройуправлении. Вера Надеждовна вмешивалась, ходила в общежитие, разговаривала с воспитателем: обратите внимание, помогите, ведь это же легче легкого, местком может выделить деньги — декабрь, а парень в резиновых сапогах. Воспитатель общежития ничего не сделала, уехала куда-то, и вот Вера Надеждовна видит, как Коля приводит Сережку, достает из сумки ботинки — купил в комиссионке за десятку, отдает ему свою рубашку.

Сережка не ершится, улыбается, но надевает обновки, впрочем, без особых восторгов. И отсутствие лишних слов так берет за душу: они ведь оба детдомовские и понимание товарищества у них такое.

У Веры Надеждовны не наворачиваются слезы, нет, она сдержан-

ный и сильный человек. Лишь потом, спустя полчаса, неизвестно по какой такой причине, вырвется вздох облегчения.

Задумается — почему, и поймет, неожиданно для себя, что в эту минуту размышляла о Коле.

Бывает, для того чтобы понять человека до донышка, требуется еще что-то. Давно знаком, много говорил, а малости этой, как соли в супе, все недостает. И у тебя ощущение какой-то зыбкости, неуверенности.

Знать — знаешь, но вот чтоб до конца, до дна — за это не поручиться.

Вера Надеждовна сама подарила мне эту малость.

Почти полтора десятка лет она в Доме, и вот однажды поманили ее пряником: работать в межшкольном учебно-производственном комбинате, где, кроме прочих самых разных специалистов, готовят и воспитателей детских домов. А что — опыт большой, образование — подходящее. Она пошла.

И тут же поняла, пряник-то и мятный и мягкий, времени полно, дело со взрослыми имеешь, которые к учебе тянутся, — а все ж пресно стало, пусто, неинтересно.

Тут она и добавила эту малость.

— Что же это я, думаю, наделала, — сказала Вера Надеждовна. — Я же из детства ушла!

В этих словах ее не было никакой литературности. Под детством она понимает детские учреждения, работу в них, работу с малышами и для них.

— Нет, сказала я себе! Не уйду я из детства!

И вернулась.

Она вернулась в детство — в том-то и дело, что не в свое детство, а в детство, которому она очень нужна.

Своими мыслями, каждодневным заботничеством о маленьких, брошенных детях.

Брошенных?

Только не ею.

Сердцем своим, руками, делом — на тех самых великих весах справедливости — выправляет она нарушенное равновесие. Действует именем государства: верит, надеется, любит.

Нет, не зря добродетели эти — женского, материнского рода.

ИНФАНТЫ НАШИХ ДНЕЙ

Вспомним великих испанцев: Веласкес, портрет инфанты Маргариты, Коэльс, инфанта Клара-Евгения, Гойя, инфант Фердинанд. По-испански инфант — дитя. Правда, слово означает еще титул наследных принцев и принцесс; это их блекловатые лица сохранили нам великие кисти мастеров.

Заемное слово «инфантилизм» тех же корней и включает отрицательный смысл. В общем-то оно равно русскому — детскость, но детскость тут затяжная и похожа на название болезни. Ведь почти у всех болезней иностранные имена. Но принцы голубых кровей владели пышным титулом инфант еще с одним оттенком — подразумевалось, что они наследники, восприемники, будущие.

Что же за болезнь такая этот инфантилизм, коли касается он в переводе с испанского и придворного не королевских, а наших детей и наследников?

Впечатление из свежих — разговор с девицей лет двадцати двух. Только что окончила институт из интеллигентских, подразумеваю — гуманитарных, получила диплом, едва ли не с отличием, но он не в радость. Девушка — провинциалка, и вот она в ужасе: не хочет покидать Москву. Город, где она родилась и выросла даже, кажется, физически сотрясает ее, она аж передергивается от мысли: там же невозможно жить! Я поражаюсь: почему? Плечики передергиваются снова: невозможно, и все тут! Возможно, оказывается, только в Москве. Как остаться — вот ее главная мука.

Я отвечаю, как могу и что знаю: ну, выйти замуж. Или вот есть «лимитчики» — златоглавой не хватает строителей и, кажется, дворников. Но зачем же тогда гуманитарный институт и диплом о высшем образовании?

Признаться, разговор гнетет меня, кто-то выбрал меня в качестве громовода, что ли, для этих неумных желаний и слез, то и дело вспыхивающих меж ресниц. Даже при сильном желании помочь ничем не могу, надрывно пытаюсь разобраться, чтобы объяснить хоть что-то — себе и ей.

Она хотела бы учиться. Чему, зачем и сколько можно — прямота порой ясней означает суть искомого. Ну, просто учиться, еще один вуз, конечно, заочно, возможно — творческий.

Я спрашиваю: родители — миллионеры? Удивленный взгляд: нет! Но ведь учение, даже заочное, не бесплатно, хотя бы для государства. А в жизни? Еще пять лет ожидания — неизвестно чего. Полуработа: понятно ведь, что заочник обычный отличается от заочника уже дипломированного. И, главное, простите за прямоту: действительно, сколько можно учиться — двадцать лет, едва ли не половину сознательной жизни?

Ну, а Москва? Может, стоит подумать о ней так: это пир, где много званных, да мало избранных. Или так: это она выбирает, а не ее. И, наконец, что за бред, будто город, куда посылают и где выросла, — немеслим для жизни? Поезжай в Сибирь, что ли!

Разговаривая с девицей, я страдаю больше, чем она. Ощущение неловкости, глупости, бессмысленности происходящего. Вопросы шестнадцатилетней, может, даже четырнадцатилетней инфанты голубых кровей. Редкостная — но, увы, случившаяся — наивность.

Искомое не смысл жизни, не профессия, а Москва.

Единственное, что утешает, — замуж ради Москвы все же не хочет. Достижение цели любым путем пока неприемлемо.

Я вздрогнул: а ведь знаю, знаю я юных провинциалок, которые ради московской прописки и замуж выскакивают и по лимиту устраиваются — дворничихами, почтальоншами.

Наивное, возможно, детское — в Москву, в Москву! — сливается с жестоким, прагматичным — любой ценой! Увы, инфантилизм в смеси с прагматизмом — жутковатый коктейль, и следствия опьянения им нами еще до конца не поняты.

Однако и вновь — увы! — именно такой инфантилизм, на мой взгляд, активно, как грибок какой, поражает наш нынешний молодняк. Детскость и расчет, жизненное неумение и умственная опытность, леность положительных поступков и оголтелость желаний, неумение работать, с трудом достигаемый профессионализм и медленное требование высших благ.

Фигурально моделируя инфанта наших дней, я бы изобразил его так: в почве, на которой стоит он в крепеньких башмаках, между подошвами его проходит трещина, и трещина эта тем шире, чем больше разница между его возможностями и желаниями.

Если не постигнет он, если не помогут ему близкие или даже вовсе чужие люди понять, что энергия жизни тaitся в единстве столь важных категорий — возможностей и желаний, — трещина обратится пропастью, и он рухнет в нее.

Рухнет!

Ибо правая нога должна точно знать, чего жаждет левая.

Но как возникает незрелость?

Грамотен ли сам вопрос? Уверен, да.

К сожалению, незрелость, как и зрелость, образуется определенным образом. Незрелость, на мой взгляд, не отсутствие положительных достоинств, а присутствие отрицательных, тоже, как и зрелость, воспитуемых, создаваемых порой трудом не менее тяжким и потным, чем тот труд, каким создается зрелость.

Только одна оговорка. Труд этот, эта работа, как правило, обманчиво искренни, ибо они желают добра ребенку. А потому, как всякий искренний труд, — незаметны.

К примеру, во многих семьях сегодня резко возросла человеческая прослойка между жизнью и ребенком. У дитяти есть не только родители, но еще и бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, дядья и тетки, и все — что любопытно — желают ребенку добра, пекутся о нем, заботятся с энергией, а порой и яростью, достойной лучшего применения. Ребенок как бы укутан в толстый слой ваты, пробиться сквозь которую к реальной жизни бывает не так-то просто. По крайней мере для этого надобно прилагать усилия. Ближайшие родственники становятся для сегодняшнего дитяти городского про-

исхождения — особо подчеркиваю именно это обстоятельство — своеобразными амортизаторами, смягчающими ушибы. Удастся это, конечно, не всегда, не при любых обстоятельствах, но в массе удастся, а потому явление это настала пора и назвать, и типизировать, и подвергнуть пристальному анализу.

Между инфантом и действительностью — сильно, прямо скажем, полегчавшей, — советы и настоятельные рекомендации не только папы с мамой, но и бабушки с дедушкой, часто, кстати, еще работающих и занимающих в семейном укладе позиции более значительные, нежели родительские, а там и многоопытных прабабушек и прадедушек, и обильной родни, и множества знакомых, которые и то-то знают и там-то значат.

Расшифруем этот тезис. Вначале о жизни.

Под полегчавшей действительностью я подразумеваю и улучшение условий жизни, и повышение материального благосостояния, и высвобождение времени и ума на другие заботы. Собственно, к этому и стремится наше общество.

Давайте вспомним ситуацию тридцатилетней — не такой-то и дальней — давности. Отдельные квартиры — редкость. Продолжительность рабочего дня — куда большая, нежели теперь. Уровень благосостояния — низкий, послевоенный, страна залечивала тяжкие раны. В «детском мире» немало послевоенного сиротства, хулиганства, причем хулиганства с совершенно очевидным диагнозом: отец погиб на фронте, а мать, выбываясь из сил, тянет семью, зарабатывает насущный кусок.

Теперь ситуация совсем иная. Люди живут в отдельных квартирах (подавляющее большинство), во многих семьях происходит накопление материальных средств (я имею в виду не только «среду неинтеллигентную», городскую массу, которую в старые времена, не придавая этому словечку нынешнего обидного смысла, называли обывателями, но и рабочие семьи, заработки, а значит, и достаток которых значительно возрос и продолжает возрастать), у родителей появилось больше свободного времени, семьи стали малолетними, но более многочисленными за счет старших членов семьи, и, таким образом, возник целый пласт, где среднеродской ребенок взят в оборону. Его опекают. Над ним шефствуют. Ему внушают.

Каждый шаг отрока расписан, каждому слову он обучен. Его чистят и драят с утра до вечера, движимые самыми добрыми намерениями: вот мы страдали, лишались того и того, так пусть дитя наше идет не круговым, а прямым путем, спрямляя дорогу к истинной цели.

При этом цель может избираться и достойная, а может лишь казаться достойной, ибо означение целью труда нефизического, высокооплачиваемого, престижность есть не что иное, как деформация нравственности, надругательство над моральным содержанием юной личности. Но оставим пока эту сторону, скажем пока лишь о

самом механизме самостоятельности, точнее о механизме, при котором самостоятельность эта сдерживается. Обилие родственников, беспардонно вмешивающихся в жизнь ребенка и подростка, вредоносно. Тут не только 17-летняя Жанна д'Арк или 16-летний комполка Аркадий Гайдар немислимы, тут и в двадцать лет охотно повторят, что руки перед едой стоит помыть с мылом, и расскажут, как это удобней сделать.

Однако главное, что формирует незрелость, — неверно расставленные целевые акценты. Трудно сыскать родителей, которые желали бы дитяти своему худу. И тем не менее стала распространенной драматическая, на мой взгляд, ситуация, когда именно близкие — родители, бабушки и прабабушки, дядья и тетки умышленно трансформируют мировоззрение ребенка таким образом, что он уже к поре своей ранней юности приходит полностью разочарованным.

Вот одно письмо, бесспорно трагическое.

«Я единственная в семье. Мои родители работают на высоких должностях. С нами живет бабушка. Мне 19 лет. Я нигде не учусь, не работаю. Почему? Неохота! Мне скучно. Я смотрю на мир с нескрываемой зевотой. Мне скучно, когда я кручу «фирменные» диски, слушаю свой видеоманитофон, разговариваю с друзьями по телефону, разъезжаю по городу на собственных «Жигулях» (его мне подарили предки на мое 18-летие). Мне многие завидуют: у меня 7 джинсовых костюмов, костюмы из замши, велюра, дубленка, сапоги, туфли... Им завидно, а мне все это надоело. Мне лень жить, лень что-либо сделать. Всю работу по дому делает бабушка. Ей 85 лет. Мне всегда делается страшно, как я подумаю, что она ведь скоро умрет. Но мне ее не столько жалко, сколько я ужасаюсь от мысли, что затем всю работу мне придется делать самой. У меня часто бывают конфликты со своими. Ругают из-за того, что я не учусь, не работаю, но я привыкла их не слышать.

Посоветуйте мне: как мне быть, как развеять тоску?

Иродя».

Более об Ироде ничего не известно. Однако без большого труда можно поставить верный диагноз: «высокодолжностные» ее родители не сумели внушить своей дочери нравственную необходимую жизненную цель.

Не исключаю такой модели: вначале дочку баловали подарками, именно подарок, вещь, предмет стали формой выражения родительских чувств и приучили девочку к мысли о том, что это какая-то пусть не конечная, но цель.

В детском коллективе — детский сад, начальная, а потом и средняя школа — при попустительстве, а порой и невежестве педагогов, самих склонных к подобным умопостроениям, происходит обнаженное копирование верхушек взрослых взаимоотношений. Причем если

в реальных отношениях взрослых важнейшее место занимает работа, то под верхушками этих отношений я подразумеваю результаты труда: плата, деньги, затем уровень благосостояния, подъем которого кое-где превращается в имущественное состояние — у кого что есть, какого качества и происхождения.

Верхушки эти следует всячески укорачивать. Глупо возражать против роста благосостояния, но еще глупее утрировать престижность вещей, создавая мнимую престижность. Для детей — все видящих, все слышащих, все понимающих и принимающих как подлинную ценность, такое состязание просто-таки губительно.

И пусть мать, раздобывшая небывалую кофточку, пусть отец, примеривающий импортный костюм, не забывают ни на секунду значение всякого, походя брошенного ими восхищенного словца. Не только словцо, всякое междометие, каждый вздох при этом имеют педагогическое значение.

Можно и примерить кофточку и полюбоваться вещью — дело это житейское, надо только придать новым вещам то значение и смысл, для коего они созданы. «Хорошо, теплая кофточка, надену, когда похолодает». «Новый костюм нужен, потому что старый пообносился». Но если новым покупателям петь аллилуйю, а, доставая их, до красного накала доводить телефонный аппарат, если лезть из кожи, повторяя при детях, что вот у Ивановых-то эта вещь давно есть, а я глубоко несчастна (несчастен) оттого, что у меня ее нет, — тут конец ребенку. Дети одинаковы, точнее — равны. Они равны и одинаковы перед добрым и перед худым.

Так вот Иродя — ну и имечко образовали из обыкновенной Иры! В детском саду, в школе полюбила ложное чувство превосходства, которое якобы дает ей новая импортная вещь, но по неумности ли, темноте ли, черствости родители, словно костерок какой в душе девочки, распалили огонь, веруя, что творят добро, а семь джинсовых костюмов да дубленка, оказывается, не спасают души.

Для души-то в вещах жизни нет. А коли так — жизнь бесцельна. Мелкие цели в форме дефицитных вещей большой целью — целью жизни — стать не могут. Иродя это поняла, она в отчаянии, в отчаянии наверняка ее родители, хватаются за голову, что делать с девушкой, а приходит ли в ум: сами виной-то всему, старшие! Родные, самые близкие и самые, без спору, любящие.

Вообще «материальное соревнование» вредоносно своей косвенной наступательностью. Изобретенное, кстати, не у нас, а в буржуазном государстве, состязание это подкупает очевидной доступностью всем и каждому. В человеке точно пробуждают дьявола, дьявол этот шепчет на ухо: чем ты хуже, вон у того на голове мохнатая шапка, удобно, тепло, а потом все оборачиваются, проявляют интерес, достань любой ценой — и станут оборачиваться на тебя. Человек лезет из кожи, отказывает в необходимом, достает, и на него действительно оборачи-

ваются. За шапкой приходит очередь дубленки, еще и еще чего-то. Обычная вещь, тряпка, созданная человеком для абсолютно утилитарных целей, начинает оттеснять истинную цель, личность утрачивает духовность, порой способна преступить закон ради престижной шапки — сорвать ее с головы другого или где-то что-то украсть, чтобы законно обрести искомое.

«Вещизм» опасен тем, что близостью самого труднодоступного имущества, возможностью добиться материальной псевдоцели отодвигает на второй, а то и десятый план цели более сложные, достигаемые труднее, а пуще того — цели внешне малозаметные. Стать добрым для такой личности — вообще не цель, а глупость и смехота. Такая цель, как высокий профессионализм, может рассматриваться не как важный и в чем-то конечный пункт, а как средство для достижения цели материального порядка.

Иными словами, в человеке, как несущие балки в здании, деформируются главные нормы человечности и здравого смысла.

Радость любимого дела? Это что-то неконкретное вообще для этой личности. Вот заработок, сумма — это да. Товарищество — оно не понимается иначе, как круговая порука, как коррупция. Сострадание? Любовь? Даже эти вечные чувства утрачивают свою первичность, если человек воспитан под знаком, простите, шмоток.

Письмо Ироди — это письмо задумавшегося, пришедшего в тупик человека. А сколько таких, что, находясь в тупике, об этом счастливо не ведают? И сколько таких, кто отвергает любые сомнения, забравшись в этот внешне теплый тупик?

Вот еще одно письмо.

«...У меня был дедушка — я его очень любила, но в то же время он меня ужасно «раздражал». Своими рассказами о войне, о том, что мы обязаны им (старшему поколению) всем, но самое главное — своими нотациями о морали и нравственности. Он считал (в прошлом году он умер), что я веду беспорядочный, вульгарный образ жизни, что я гублю себя, свои «выдающиеся» способности к точным наукам. А я так не считала и не считаю! Чтобы было понятно, поясню.

С младших классов у меня были довольно большие способности к математике, а затем и к физике (это не мое мнение, это мнение учителей и моих родителей). Но в классе 7—8-м я поняла, что учеба не главное в жизни. И к этому времени, как говорится (без ложного стеснения), я пышно «разневестилась». Учить уроки я постепенно перестала, у меня появились новые друзья и подруги, совершенно иного склада, чем те, с которыми я училась в классе, хоть я и окончила 10-й класс в ранге одной из лучших учениц (по успеваемости). И моих «выдающихся» (это всегда говорили мои учительница математики и дедушка) способностей хватило, чтобы поступить в университет, куда, кстати, я совершенно не хотела поступать. Просто я уступила настояниям мамы, которая мнит увидеть меня в будущем научным

работником. Ну, это небольшое отступление. Так вот, с новыми друзьями я стала весело проводить время. Научилась курить, пить, одеваюсь, безусловно, высший класс, учусь в университете лишь бы как, демобилизуюсь лишь во время сессии, чтобы сдать экзамены на стипендию. Но я стараюсь сдать более или менее прилично вовсе не из-за стипендии как таковой (карманных денег у меня всегда достаточно), а просто из-за престижа. Конечно, уровень людей, с которыми я общаюсь, низкий. Интересы ограничиваются новыми модными дисками и количеством американских джинсов. Но встречаются в нашем кругу и люди с высокими духовными потребностями. Но они либо постепенно деградируют, либо «откальваются» от нас.

И мой дедушка страшно переживал за меня. Что я так неразборчива в друзьях, особенно парнях, с которыми часто запираюсь у себя в комнате (по самым скромным приблизительным данным, их у меня перебывало не меньше двадцати), что почти не читаю книг из нашей домашней библиотеки (несколько тысяч книг), а ношу домой всякую «пошлятину», что не питаю никаких абсолютно родственных чувств к своему шестилетнему братику, что не слушаю родителей, а только тяну с них деньги... Но если мне так хочется жить! Если только так я представляю себе свое существование! Ведь я поступила в университет, чего вам еще надо, я выполнила вашу просьбу, теперь оставьте меня в покое, как хочу — так и провожу свое свободное время.

Да, я знаю, что «человек — сам кузнец своего счастья», как говорил, по-моему, Горький, человек должен сам заниматься своим воспитанием, и все-таки мне нравится моя беспорядочная жизнь! В глубине души я хочу, конечно, встретить человека или какое-либо обстоятельство, которое круто изменило бы мою жизнь.

Иногда меня грызет совесть. Вот мать с отцом работают с утра до ночи, в сущности, на меня и братишку, а я, что я даю взамен? Только и знаю, что в ателье, потом на маникюр и на вечеринки. Одежда требует столько денег, что я даже иногда поражаюсь, где мама берет мне две сторублевые бумажки каждый месяц. Может, я никогда не работала в жизни и поэтому не ценю их труд?

Наверное, я элементарная эгоистка. Почти всегда дома меня все раздражают: братик — своими капризами, дед выводит меня из себя своими замечаниями, которые не смели делать мне родители, а мать с отцом — своим размеренным, тихим образом жизни.

Теперь некому делать мне замечания, и я не знаю, будет ли перелом в моей жизни. Иногда я ненавижу себя за отвратительный образ жизни, но чаще я безумно предаюсь всей этой мещанской среде, в которой обитаю, и это мне нравится.

Мне нравится, что меня считают «своей среди своих», что я пользуюсь успехом у молодых людей, что я не знаю стеснения ни во времени, ни в деньгах... Но боже мой, как все надоело!

Помогите мне разобраться в себе и в людях.

Я писала предельно искренне, извините, если есть стилистические и орфографические ошибки.

Память дедушки для меня сейчас, конечно, свята, он окончил войну в ранге капитана и имел много наград. Я чувствую, что во многом он прав, но никогда, по-моему, не изменю своего образа жизни.

С уважением А. В. С., Караганда».

Бедная Вера Павловна эпохи Чернышевского! Даже в самом жутком сне не могли ей присниться подобные последствия женской эмансипации! Но что это иное, как не инфантилизм, как человеческая несостоятельность в самом хронически запущенном состоянии?

Уцеплюсь за одну немаловажную деталь: А. В. С. раздражает размеренный, тихий образ родителей, не смеющих сделать ей даже замечания. «Видите! — восклицает человек, ищущий здесь рецептов. — Плохо, когда родители опекают, но плохо, и когда молчат».

Бесспорно! Потакание — какое точное старое русское слово! — так вот потакание худо в любом своем проявлении, и тихое потакание ничуть не лучше потакания громкого, осмысленного, громогласно декларирующего свои псевдоцели. Дома распушенной и распутившейся А. В. С., как называет она себя, сопротивление ее нравам оказывал один-единственный, ныне покойный дед, и он же — заметьте! — вызывает у внучки самое глубокое уважение. Она поминает войну и ордена, это справедливо, потому что борьба деда с собственной внучкой за нее же самое, слившись с прошлым человека, которого нет, рождает в А. В. С. естественную тоску по самому главному, чего у нее-то как раз и нет: тоску по настоящей цели, по идее, по идейности — и в высоком, и в практическом, земном смысле. Дед жил богаче ее; даже в борьбе деда за нее она, если и не видит, то чувствует осмысленность и выражение идеи.

Дай-то бог, чтобы через осмысленность собственных поступков пришла наша юная беспутница к смыслу жизни, к цели.

Много хлопот несет с собою инфантилизм. Чего-чего, но вот безысходность не ведущее его свойство. Думаю, относиться к этой слабости следует все же без излишнего испуга и возможных перегибов. Мыслящее существо все-таки отыскивает выход — к делу, к поступку.

Но перед поступком есть важный этап — очень важный применительно к инфантилизму — то, что я называю осмысленностью, осознанием невозможности подобного существования.

Вот, на мой взгляд, яркий документ этого важного этапа:

«Я принадлежу к «некоторой части нашей молодежи», пораженной микробом этой болезни. Инфантильность — это почти национальное бедствие. Истоки ее, на мой взгляд, кроются в непреодолимости «искуса благополучия». Почему некоторые молодые люди не любят говорить о войне? О стройках? Это, так сказать, срабатывает система торможения, т. е. мы чувствуем, что если сопоставлять поколения, — это сопоставление будет выглядеть явно не в пользу

нашего. Что же это? Вечный конфликт отцов и детей? По-моему, это гораздо серьезнее, т. е. все перевернулось с ног на голову — «ретрограды», «устаревшие» родители оказываются на деле куда прогрессивнее своих детей.

Мы ощущаем свою непорочность, мы не приучены к работе, и, верьте, мы не счастливы. Помните у Блока:

Верь, несчастней моих молодых поколений
Нет в обширной стране...

У нас почти то же самое.

Спрашивается: где выход? Выход есть, это уже система. (Может быть, многие будут не согласны с моими наблюдениями, но исключения только подтверждают правило, моя система — это сама жизнь.) Выход — это потрясение. Все равно какое. Но сильное, чтобы его следствием была неизбежная переоценка ценностей. Многие из нас прошли через это (исключение — единицы). Если же его нет, люди пополняют собой галерею «лишних людей» в современном варианте. Это все, что я хотел сказать.

С уважением, Виктор С.»

Итак, потрясение как выход. Что ж, максималистский, но не чуждый здравого смысла путь.

Однако пойдем от противного. Немало славных и чистых ребят встречаю я в жизни — поездках, на пленумах комсомольского ЦК, — тех, кто нашел себя без долгих словопрений, живет идеей, хорошей, высокой целью. Что ж, все прошли через потрясение? Кому-то оно требуется, еще как, но великое множество людское, вырастая в простых обстоятельствах, умеют сохранить себя, остаются собою, сызмала избрав свою собственную суть существования. Нравственное здоровье ближних не может освободить ребенка от инфантильности возраста, но может охранить от хронического течения этой болезни.

Ведь еще великий Маркс сказал: бытие определяет сознание.

Бытие помельчавших мечтаний, узколичностных интересов, подешевевших иллюзий, решений, сильно отцензурированных старшими членами семьи, определяет затяжной характер инфантильности и трансформации снов и сновидений Верочки восьмидесятых годов двадцатого века, называющей сегодня себя А. В. С.

Не надо бранить ее слишком уж громко. Большой процент ответственности за ее мечтания и поступки лежит на взрослых, отнимающих у нее право собственного решения. Тургеневский конфликт отцов и детей, по моему разумению, обретает в этом смысле новое, порой внешне абсолютно бесконфликтное дыхание.

В сущности, настает пора поддержать стремление детей к самостоятельности в новых социальных условиях. Настает пора обратить на это

самое серьезное внимание родителей, если они хотят своим детям подлинного, а не фальшивого добра.

Я думаю, каждое новое явление в жизни требует длительного наблюдения над его результатами.

Тех, кто родился перед войной, во время войны, сразу после войны, нельзя назвать безоблачными поколениями — они хватили лиха, и, пожалуй, безоблачным поколением возможно признать уже их детей, родившихся годах в пятидесятых—шестидесятых. Собственно, и об инфантилизме-то мы заговорили применительно к «пятидесятникам» и еще более — к «шестидесятникам».

Запоздалая зрелость при условии сильной опеки, растущего материального благополучия, расцвете «вещизма» в обстоятельствах созерцательной духовности и всего лишь сопереживаемой действительности — об этих ребятах идет речь. Пока о молодежи, о более или менее молодых людях.

Но ведь результат будет наблюдаем в полном его объеме лет через тридцать—сорок; когда инфанты, рожденные ростом благосостояния и благополучия, сами станут дедушками.

Давайте смоделируем, хотя бы мысленно, а? Может, появятся дедушки, так и не нашедшие себя в своей долгой жизни? Бабушки, привыкшие к опеке, бесконечным советам и пожеланиям, — бабушки, ждущие советов на сей раз от внуков? Старики, неуверенные в себе, подверженные колебаниям, неустойчивые, комплексующие. И новый, уже тамошний, тогдашний, из двадцать первого века молодняк, инфанты тех, будущих детей, усмеваются над стариками и не ищут в них опоры, осуждают их моральную слабость.

Может ли это быть? Представить себе страшно, печально, даже, если хотите, отвратительно. Но возможно. Но крайней мере не исключено. Полагаю, что семена инфантилизма могут прорасти до глубокой старости и дать плоды — такой горечи и послевкусия, что мы сегодня и вообразить не можем.

Мне могут возразить, что это крайности, такое прогнозирование недоказуемо, оно не в природе гибкой человеческой натуры, что жизнь сильнее нас, укатают любого сивку крутые горки, и к зрелости человек даже самого избалованного воспитания придет иным, изменившимся в своей сути, и инфантильных стариков быть не может.

Однако я полагаю важным документом — человеческим письмом, подтверждающим, допустим, и единично, ужасную возможность. Честно говоря, лучше бы приводить иные документы, подтверждающие иные, более оптимистичные гипотезы. Но объективность размышления не вправе отвергать и такое:

«Мне 30 лет, я 6 лет замужем и вот решила написать про свою великую тяжесть — про своего инфантильного мужа. Правда, мой муж работает, но как убог, безделен его досуг! Неумение и, главное, нежелание трудиться, жажда вечного праздника — откуда в нем,

сыне простой, рабочей семье, это барство? Отец — каменщик, мать — заводская работница, а вот работать сына не научили. Читать не приучен, каких только книг я ему не предлагала, дома у меня неплохая библиотека, собираю книги с 10 лет, — бесполезно. Чем ни пытаюсь заинтересовать — ничего не получается. Увидел у знакомых фотоальбом — «Вот здорово!» Купили фотоаппарат, думаю, все интерес к чему-то будет, пощелкал, проявлять и печатать — занятие более скучное, в результате — я полностью освоила фотодело. Заинтересовался аквариумом — завели рыб, и опять все то же. Цветет вода,дохнут рыбы. Загорелся и потух.

Поженились, родители предложили купить кооператив. Отказались. Когда добиваешься сам, оно ведь дороже все это. Живем на частной квартире, топлю печь, ношу воду. Углем и дровами обеспечивает отец. Решила заставить мужа хотя бы немного позаботиться о доме — запастись на зиму топливом. Куда там! Ноябрь, морозы, а в сарае ни угля, ни дров. «Выписал». «Некогда в управление сходить». «Уже все разобрали». Получили квартиру. Гвозди не вбиты, ковры рулонами у стены — «Не могу пистолет достать». «А ты на деревянных пробках сделай». «Ты что, это неделю долбить надо».

Не хочу противопоставлять наши семьи, но так уж получилось. Я выросла в интеллигентной семье: отец — зам. директора предприятия, мама — директор школы, а я ведь все умею, всему научили. Даже уютю отремонтирую, не дождавшись помощи своего «мужчины», не говоря уже о сугубо женских делах — шить, вязать, готовить и прочее. Смотрю на него и думаю: чем бы еще его занять? «Давай дачу возьмем, ты ведь умираешь от безделья!» «С ума сошла, взять и убивать на нее каждое лето!» Растет у меня дочь, маленькая еще совсем, но помогает, чем может, — и пол подотрет, и посуду вымоет, и куклины платья стирает. «Ты ребенка детства лишаешь», — говорит мне муж. «Нет, я просто не хочу растить белоручку». И ведь он очень неплохой человек, мой муж. Добр, терпелив, не пьет, не курит и прочие «не». Одно тяжело — работа для него обязанность, ноша непосильная. Отсидит в кабинете восемь часов, отсидит дома и спать ляжет. И все ему скучно, все ему неинтересно. В отпуск надо каждый год ездить, каждую субботу в гости ходить. Не знаю, зачем пишу все это. Хорошо было бы, если бы вы напечатали мое письмо, может быть, узнает в нем себя, что-то по-другому станет в нашем доме? Устала я быть «мужчиной» в квартире нашей.

С уважением Л. С. .

Вот так-то!

Эвон куда укатил пресловутый инфантилизм — во взрослую, ответственную, серьезную, связанную не только собственными желаниями, но и обязательствами перед другими жизнь.

А если мужа такие толпами пойдут? Если они дедами станут? Если их много взойдет, этаких нездоровых стариков, — что станет с детьми, их внуками, которые хоть какое-то право имеют на эту детскую болезнь?

Так что гипертрофированно представив возможную жуткую перспективу, попробуем поразмышлять, как же вылечить-то эту болезнь с испанским именем — инфантилизм?

Василий Александрович Сухомлинский написал когда-то, что нужно отказаться от намерений найти какое-то универсальное средство, когда речь идет о такой широкой педагогической задаче, как обучение подростка самоутверждению. Думаю, такой подход важно учесть и при лечении инфантилизма. Одного лекарства тут нет и быть не может. И лечить одного лишь инфанта — тоже неверно.

Совет старшего — кто-то может поставить над этим знак сомнения, знак вопроса, но совет — а не опека, не навязывание мнения и уж ни в коем разе не отъятие, не отъем этого мнения.

Мне кажется, любой человек в каких-то сферах жизни всякий раз должен пройти уже пройденное предшественниками. Вроде бы с точки зрения чистого радио глупо. Послушай совета старших, сократи тяжкий путь познания, обойди камни и порошки на своем пути — куда как быстрее и точнее выйдет. Но в этом радио нет жизни. По уму — да, по жизни — нет. И не надо, нет, не надо нам уговаривать наших инфантов обходить камушки и порошки, выбирать тропку поворнее да глаже. Всю их дорогу нам с ними рядом не пройти, настанет, непременно настанет миг, когда им оставаться одним на большаке жизни, а там невидимая нам дорога может уготовить такие ухабы да рытвины, что предшествующая гладкая тропка в тягость окажется: не подготовила ни к чему, ничему на научила. Когда в синяках ребенок, отрок, подросток — я имею синяки да шишки самостоятельных шагов — это понятно, простимо, вызывает сочувствие и понимание, но коли в синяках взрослый, не изготовленный к жизни человек, — это к печалям ведет куда как серьезным. И жизнь сломать способно.

Так что опека, сильная, волевая со стороны старших — я такую видел, знаю, что способна сделать она, сколько натворить бед, разочарований, тоски, — это не забота о растущих, о наследниках, нет, а тяжкий и потный труд вопреки им и их счастью.

Навязывание самостоятельности и протест против опеки может показаться выбором того самого единственного универсального лекарства против инфантилизма, которого в то же самое время нет.

Сколько судеб — столько историй, но даже в одной судьбе средства должны соединяться разные. Начинаящего, скажем, в труде, на заводе, начинающим могут оставлять долгое время обстоятельства от него вроде не зависящие — не спрашивают его, сдерживают. А где обманывают, где еще что. Страшный и коварный друг инфантилизма — недоверие к человеку молодому, так сказать, невостребованность его гражданственности, его деятельных, хороших качеств. Разговор этот сложный, неоднозначный, состоящий из многих проблем и далеко не педагогических.

И тут в поисках все же универсализма, я бы сказал универсализма педагогической (а значит, родительской, общественной) нравственности, хочу напомнить историю, а, главное, отношение к ней, происшедшую в практике все того же прекрасного, незабываемого Василия Александровича Сухомлинского.

Его ученики обнаружили, что кто-то губит дубы — узкой, незаметной полоской подрезает кору, деревья высыхают, потом легко доказать, что деревья надо спиливать. Поклялись преступников найти. Когда нашли — ахнули. Пилить дубы приехал заведующий фермой, человек, любивший говорить высокие слова о патриотизме и гражданском долге.

Ребята поступили по-ребячьи. Когда пильщики устали и уснули, дети собрали пилу, топоры, бросили в овраг, присыпали землей, на кузове машины написали мелом: «Воры».

Они совершили свой суд. Но потом испугались, пришли к учителю, отдали ему ключ от машины.

Самое главное в этой истории — последующее.

Сухомлинский не испугался, а обрадовался поступку ребят, их поддержал. Он писал потом, что нельзя отмахиваться от справедливого порыва детского сердца — эта «мелочь» формирует гражданина. Справедливость, по Сухомлинскому, для ребенка непременно должна заканчиваться поступком. Он решительно протестует против воспитательского ханжества: мол, зачем так, лучше обратиться к власти, в сельсовет, еще куда, где взрослые вынесут справедливое решение. Воспитанный так человек, записал Василий Александрович, «может научиться управлять чувствами с точки зрения собственной выгоды и удобства. Такие люди страшны и небезопасны: они способны на предательство и вероломство, на них нельзя положиться в сложной обстановке, для них нет ничего доброго и святого».

Вот какой ответственный вывод, казалось бы, из невинной альтернативы: совершить справедливый поступок самому или предоставить его старшим.

В сущности, чрезмерная опека старшими подростка или даже уже взрослого инфанта есть не что иное, как снятие у него права справедливых решений, только в собственной судьбе.

Еще одна бесконечно важная формула Сухомлинского: «Из эмоционального разоружения рождается опасный моральный порок — бессилие, чувство собственной никчемности».

Нет, не так безопасна эта усердно потливая озабоченность о каждом мало-мальском шаге любимого чада: она возвращает не ведущего, но ведомого.

Знание — куда идти — это, в сущности, главный творческий признак социально зрелой личности.

Один из ведущих признаков инфантилизма — подражательство, желание следовать стандарту.

Один из главных признаков зрелости — желание скорей найти самого себя, свою индивидуальность, что еще вовсе не означает «позорного» выделиться.

Все гоняются за джинсами, надо раздобыть эти джинсы и мне. Все ходят с такой-то прической, такая прическа будет и у меня. В целом нормальное свойство отрочества «быть как все» должно непременно спотыкаться о порожек, после которого начинается: «Я должен быть самим собой». Но порожек что-то не встречается. Не отдавая себе в том отчета, инфанты сперва одинаково стригутся, одинаково одеваются, потом слушают одну и ту же музыку и, наконец, одинаково думают.

А тут есть над чем посоображать. В чем-то, может, одинаковость хороша, но чаще губительна. Она способна превратить толпу в стадо, особенно когда толпу отличает общая юность, порою равнозначная общей неопытности. Душевной, нравственной неопытности.

Ведь ежели дать тысяче подростков тысячу книг «Три мушкетера» и этой же тысяче дать возможность прослушать серию одних и тех же музыкальных новинок в их вкусе, результат будет абсолютно разный, и дело вовсе не в существовании этого результата, а в многозначности результата чтения и однозначности восприятия так обожаемой ими музыки.

Что это значит? Только одно. Воспитывать инфанта надо теми средствами, которые способны формировать индивидуальности, множественность индивидуальностей.

Еще одно. Иммунирует к дурному, к негативному. Силен этот иммунитет — человек зрел. Слаб иммунитет — слаб человек, еще не созрел. В сущности, устойчивость к дурному есть не что иное, как признак самостоятельности, а, значит, индивидуальности.

Опасен и в то же время типичен для инфанта житейский сюжет, который я бы назвал, может, и ненаучно, — эффект картинки.

Он уже велик ростом, наш дорогой ребенок, относится к себе как к взрослому, того же требуя от окружающих, конфликтует на этой почве, ощущает себя недооцененным, несправедливо угнетенным, а сам живет «картинками». Его будущее представляется ему «картинками», полными высот, признания, осуществления великих целей. Однако о том, что до воображенной картинки — долгий путь и упорный труд, об этом думать не желает. И худо, когда между воображаемым, чаще всего внушенным близким с самыми благими намерениями и правдой жизни, по которой «картинки» можно достичь лишь работой, возникает пропасть, разрыв.

Это признак бесспорной инфантильности, когда трудности достижения красивой цели рождают обиду, слезы, разочарование, наконец, равнодушье.

Казалось бы, пустяковая педагогическая клепка между желаемым и путем достижения желания, а как тяжело оборачивается ее отсутствие, ее пропуск.

За забором семейной заботы, чаще всего бездумно услужливой, идущей от лжедобра мысли, что главная задача взрослых быть поводырями зрячего инфанта, может возникнуть — и возникает — немало злых идей. Первая среди первых — эгоизм, себялюбие, которое в конце концов и поводырей поставит, коли надо, на колени. Эгоизм же рождает жестокость, рождает индивидуализм. Неумение в сфере самостоятельных поступков приводит постепенно к их нежеланию, равнодушию, а потом и неспособности их совершать. А что лучшего может желать зло?

Ведь еще Эберхардт — вспомним эпитафю Ясенского — означал: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство».

Бойся равнодушных, а только равнодушных воспитует зашоривание глаз и воспитание бездушности.

Инфантилизм я бы сравнил со сном, но сном необычным. Человек спит с открытыми глазами. Он видит добро и зло, но вяло реагирует на них. Он чего-то хочет — самостоятельности, поступков, но от них отказывается: ведь плыть по течению куда проще, чем против течения. Чтобы стать гражданином, инфант должен проснуться. Мозг должен среагировать на увиденное и выдать соответствующую справедливости реакцию. Проснувшись, инфант становится человеком. И все дело в том, когда он просыпается: будучи еще ребенком или став тридцатилетним мужчиной.

Бывает и так и этак.

В жизни нет поступков больших и малых. Собственно, солгав или просто умолчав в микроскопическом проступке ранней поры своей жизни, человек уже совершает акт, формирующий его как личность. Система правдивых поступков делает его личностью. Повторяю: нет поступков больших и малых. «Комсомольская правда» писала года три тому назад о семье детишек из вологодской деревни. У них умерли мать и отец, ребят хотели устроить в детский дом, но они воспротивились, сохранили семью, помогая друг другу. Старшему, кажется, было лет восемнадцать. Для детей в обстоятельствах, предложенных судьбой, поступок этот был естественной и единственной истиной. Окружающих он поражает мудрой зрелостью.

Грех в наши дни призывать испытание во излечение болезни. Нет уж, пусть минует детей наших горькая чаша, пусть растут они в благополучии — пусть всегда будет на столе нашем уже не один хлеб, и не только с маслом, но и с икрой, пусть ходят они в джинсах, коли так нравится это, и пусть, заработав, садятся за руль собственного «Жигуленка». Но пусть твердо знают цену и штанам и машине, пусть

веруют не в лживую, а подлинную ценность человеческих созидających рук, пусть решают сами непременно, сами, свою жизнь, исходя из вечно благого посыла, что нет ценности дороже человеческой дружбы, нет богатств дороже богатств искусства, и нет дел более важных, чем собственный самостоятельный поступок.

Ведь мы — и они тоже, наши дети — живы будущим, нашим наследием, передаваемым в наследство далее, другим.

Пробудить сознание в своем наследнике, подвинуть его к поступку — непременно доброму — значит помочь ему стать гражданином.

Быстрее или дольше, в этом, собственно, и есть главный признак болезни инфантилизма.

Пробудить быстрее означает не только помочь.

Это означает еще — доверить.

Но все-таки есть он, рецепт, — как поскорей миновать детскость? Дело-то ведь серьезное!

Куда как серьезнее. Уже энциклопедический словарь поместил точную научную формулировку этого явления. Звучит значительно: «Инфантилизм» — особенность психического склада личности, обнаруживающей черты, свойственные более раннему возрасту: эмоциональную неустойчивость, незрелость суждений, капризность и подчиняемость».

Так. А выход?

Человек устроен таким образом, что всегда-то он ищет единственный выход. А если их много, как в муравейнике, если их тысячи, и ни один неповторим, тогда как?

Но есть же что-то общее, какой-то такой единый знаменатель?

Есть. Я приведу здесь три письма, лишь три выхода из тысячи. Во всех трех есть что-то неуловимо общее. Думаю, это нежелание жить по-прежнему. Обретение необходимых простых истин.

Можно найти себя, включив на полную мощность ум, силу, интеллект. Можно повзрослеть, ответив за другого. Можно, пожалев слабого, близкого, например, мать. Можно найти себя, обретя дело, которое дорого тебе. И правда — тысячи можно!

Но вот лишь три из них.

Первое «можно»

«Я кончил школу хорошо, можно сказать, даже очень хорошо, но куда не поступил. Туда, куда хотел, отговорили, мол, конкурс большой, а куда рекомендовали — пошел без всякого желания и провалился. Нет, не подумайте, что я кого-то виню. Нет и еще раз нет! Только сам виноват.

Потом пошел работать. Работа была неквалифицированная и тяжелая. Но этого я никогда не боялся и с удовольствием ворочал

куски рельсов и бетонные плиты... Получал деньги, вроде все нормально, но пришла весна. Встретился с такими же молодыми парнями, как и я, познакомился. Походили на концерты знаменитого ансамбля, посидели в барах, и что же я узнал?

Не ворочая железа, не сбивая пальцы о плиты бетона, они гребут денег в три раза больше. Появилась и у меня такая перспектива, и вот тут я смалодушничал в какой уже раз. Погнался за легким заработком (джинсы, пластинки, куртки) и бросил свою работу. Чуть-чуть не вылетел оттуда по статье, спасло только то, что несовершеннолетний. И вот веселое время. Деньги, бары, музыка, девушки... Но мне понадобилось очень много времени, прежде чем я понял, что нету жизни. Она проходит мимо. Проходит со всеми людьми, спешащими на работу, с фотографиями в журналах счастливых ребят, добывающих уголь, сеющих хлеб, строящих дома... Я же просыпался в полдень, потом где-нибудь завтракал и шлялся, шлялся по Москве из конца в конец...

Мама плакала, а я обещал ей начать нормальную рабочую жизнь, она успокаивалась, и все продолжалось как и было. Потом вроде стал готовиться к экзаменам в институт, мама думала выпросить отсрочку от призыва в армию... Но тут я представил, что станет со мной, если я поступлю в институт. Учеба учебой, но друзья-товарищи останутся, и дела прекратить будет трудно. Короче, меня стала пугать жизнь в этом городе, и я пошел в военкомат. Сейчас уже год, как я служу в Забайкальском военном округе.

Могу смело сказать: я нашел то, чего мне не хватало. Ведь на первых порах в армии приходится очень сложно и очень трудно. Здесь надо пересилить себя, спрятать в себя свою гордость и выполнять все то, что там, дома, казалось просто смешным. Я страшно рад, что служу в армии. Я узнал радость труда, познал настоящую дружбу, когда ты готов отдать все для товарища.

Ну, а если по какой-нибудь причине ты не можешь быть призванным в армию, то сделай то, что делали уже очень многие люди в самый ответственный момент — пересиль себя.

Ты же мужик. Вот что надо всегда помнить. Можно не быть трусом, но не иметь силы воли нельзя.

Это страшное слово — инфантилизм и страшная проблема. Понятно желание многих родителей, чтобы дети лучше жили. Но к этому можно идти по-разному. То, что не дали (то ли не сумели, то ли не успели) мне родители, дала армия. И за это я благодарен ей! Огромное спасибо!!!

Что сказать, трудно оторваться от всего привычного и рвануть куда-нибудь работать. Но решать-то надо. Решать, ведь жизнь, она предъявляет свои требования. И в один прекрасный день понадобятся решения быстрые и важные. А они не придут. Потому что не из чего приходиться. Нет опыта, простого трудового опыта. Это самое худшее.

Извините за столь сумбурное и сбивчивое письмо.

А. Н., Чита».

Второе «можно»

«Мальчики и девочки в свои семнадцать сейчас почти всегда выглядят как дяди и тети внешне (акселерация?), а чуть копнись глубже — часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, приспособленчество, черствость, бездушие, да мало ли еще...

Но откуда все это вдруг берется? Да и берется ли вдруг?

Часто приходится слышать: вот вы, молодежь, горя не видели... И это ставится чуть ли не в упрек. А разве только при виде горя люди становятся добрее? Разве не рядом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с прекрасными близкими людьми вырастают эти носители черствости, бездушия, у которых доброта есть где-то внутри, но она в зачаточном еще состоянии? Будет ли она со временем развиваться? И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, как бы говоря: вот тебе все, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, — только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот...

Разве может возвыситься человека такое «добро» — сначала «достать» престижную путевку на «престижный» курорт, а потом напомнить об этом при каждом удобном и неудобном случае? Вот, мол, бери, пользуйся, но помни... Вряд ли такое «добро» сделает добрее. Скорее будет наоборот.

Может сложиться впечатление, что я всю вину пытаюсь свалить на взрослых. Нет.

Молодежь инфантильна? Может быть. Мы многого не умеем. Но не правы и те «непререкаемые авторитеты», которые утверждают о полной нашей несостоятельности в смысле гражданственности. Мы не видели горя, мы не мерзли в окопах и не провожали в последний путь самых близких, самых родных. И только потому мы хуже? Но кто знает, как поведут себя все эти инфантильные, несостоятельные, беспомощные мальчики и девочки в тяжелую минуту?

Я недаром взяла в кавычки слова «непререкаемые авторитеты» — нельзя судить людей только по тому, что они никогда не знали ни горя, ни тягот войны.

И еще. Дети получают в школе необходимые знания — математика, физика, литература, много всего. Детей учат музыке, рисованию. Дети занимаются спортом — их учат быть сильными, красивыми. А вот доброте, сочувствию (умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить только близкие люди.

Не формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и **растит** в тебе этого Человека.

...Однажды моя мама спросила у одного из моих друзей, почему его мама не попыталась устроить свою личную жизнь. Он чуть ли не возмущенно ответил: «Но у нее есть я!..» Он принимает как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама **не имеет права** ни на какую больше жизнь, кроме заботы о нем, тревоги за него. Сейчас этот мой товарищ женат, у него своя семья, своя, отдельная от матери, жизнь. Он получил от близкого человека все, что ему было нужно. Но нужна ли была ему та жертва? Он никогда об этом не задумывался. Его этому не научили.

Страшно, когда человек остается в душевном одиночестве. Почему-то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных людей. Когда в одиночестве остается подросток, ему еще тяжелее. Может быть, он не будет злым, жестоким. Но добрым он тоже не будет.

Х. З. 21 год, Уфа».

Третье «можно»

«После школы ничего не хотелось делать — ни работать, ни учиться. Понимала, что так нельзя, дома ломала голову, куда пойти. Сама ничего не придумала и по настоянию мамы поступила в кулинарное училище. Два года училась через пень-колоду, но профессию приобрела. И год ходила на работу, как на каторгу. Уйти бы с этой работы, но ни к чему другому душа не лежала. Потом уволилась и три месяца ходила в «безработных». Мать «запилила». Немного стало мне потруднее — не было денег даже на кино, не получала обновок. А в общем, все было неплохо: сытно ела, обуодета, и крыша над головой. Потребности в работе не было. С близкими все в порядке: все деды-бабки работали, мама на пенсии и продолжает работать. А мне было все неинтересно до тех пор, пока не попробовала самостоятельности.

В двадцать лет уехала на другой конец Союза временно поработать, да так и осталась там. Нашла дело по душе, появилась цель в жизни, а, главное, узнала цену копейке. Обо всем надо было заботиться самой, не было надо мной опекуна, и я сразу повзрослела.

Сейчас у меня семья, муж хорошо зарабатывает. Особой нужды в моей зарплате нет, получаю я мало. Но работу я не брошу, хотя, как и любая другая женщина, задыхаюсь от недостатка времени, в кино лишний раз некогда сходить, домашняя работа закружила. И не потому, как говорят, что на работе иная атмосфера, общение с коллегами (или как еще можно назвать?), а просто уже ощущаешь потребность в труде.

И сейчас я могу сказать, откуда истоки инфантилизма — они от родительской чрезмерной любви, от всепрощения. В таких случаях надо отдаляться детям подальше от дома, поискать себя без чьей-либо помощи. А мамы и папы стараются всеми правдами и неправдами втиснуть свое чадо в институт. Не понимают, что этим самым задерживают выход из стадии инфантилизма.

Б. Н., 30 лет, Владивосток».

Кому-то может показаться, что три выхода из тысяч слишком уж организационно-конкретны: уйти в армию, уехать на восток, научиться сочувствовать, сопереживать; есть, мол, в этом некий наивный прагматизм, что ли излишняя практичность исхода — не совет ли, не тот ли искомый общий рецепт, коего, как утверждал Сухомлинский, нет и быть не может.

Далек от этой мысли.

Повторю: исходов множество, болезнь излечима самыми разными способами. Важно помнить об одном — лечение это должно избегать как «пере», так и «недо». Пережимы и недоработки чреваты осложнениями. Берясь лечить инфантилизм, важно, как и при всякой другой болезни, вовремя поставить точный диагноз. А дальше — действовать Учителям, воспитателям и прежде всего родным.

Считается, что любовь к дитяти не может быть глупой, увы, может быть. Но выберем иное слово — неразумной, и эта формулировка не кажется такой уж неприемлемой.

Против неразумной, слепой, ничего окрест не замечающей любви — во имя любви осознанной, мудрой, желающей добра и ведущей к праведному поступку, — вот, в сущности, единственно возможный и действительно общий для всего сущего рецепт.

А сущее это — отец и дочь, мать и сын, даже если речь идет о чужих детях и родителях других детей.

Все в мире рядом, а подлинное добро распространяется от одних к другим, от старших к младшим и наоборот, цементируя всех нас в единое целое.

УЧАСТЛИВОСТЬ

Последние годы, после того как журнал «Знамя» напечатал мою повесть «Благие намерения», посвященную современному сиротству, я обехал много детских домов и школ-интернатов.

Почему после повести, ведь она уже написана, новых проблем для прозы я не открывал, по сути, все мне было известно?

И тем не менее беспокойства я испытывал куда больше, чем тогда, когда готовился к повести и писал ее.

У дегустаторов есть такой термин — послевкусие. Он означает ощущение, которое остается, скажем, после глотка терпкого вина, кусочка яблока, ягоды винограда.

Нечто похожее было со мной. Я испытывал послевкусие от своей работы, точнее, от большой и горькой заботы, к которой прикоснулся пером и я. Повесть — написанная, напечатанная — не успокаивала, а снала тревогой и беспокойством.

Что-то надо было делать еще, кроме повести. Требовались поступки, и не столько мои. Надо было что-то такое сделать — на этот раз в жизни, а не в литературе. При этом из памяти не выходил один довольно простенький эпизод.

Мы с приятелем приезжаем на несколько дней в молодежный лагерь за Костромой и утром видим, как прямо под окнами, у нас на глазах вырастает сказочный снежный городок: терема, забавные чудища, снегурочки и богатыри. Оказалось, в лагере отдыхают студенты со всей страны, и вот они придумали такую забаву: несколько отрядов состязаются в снежной скульптуре.

В тот же день на другой стороне Волги мы обнаружили сельский детский дом. Вечером предложили студентам: давайте-ка вашу прекрасную энергию перенесем на ту сторону реки.

Признаться, поначалу нас не вполне поняли. Сидели перед нами прекрасно одетые и абсолютные благополучные люди, с выразительными, интеллигентными, красивыми лицами, кивали, охотно соглашались пойти в детдом, но я по глазам видел — не понимали, совершенно не понимали, о чем речь.

Благим делам покровительствует природа, и утро нового дня выдалось восторженно-прекрасным: солнце, преломляясь в крупных снежинках, отливало то небесной голубиной, то рыжей медью, то весенней зеленью. А через Волгу — «талиа» у нее в том месте версты две — протянулась живая студенческая цепочка.

И вот мы во дворе детдома. Уже не умом, а глазами, душой, еще не очерствевшей, прикасаются благополучные, интеллектуальные, красивые студентки и студенты к такой простой и ясной истине: вот эти малыши в одинаковых серых шубейках и в шапочках тоже, увы серых, живут здесь без матери, без отца, без бабушки и деда, и, какой бы доброй ни была воспитательница, души ее все равно не хватит на каждого из двадцати пяти ребят группы.

Я видел, как не в теории, а в жизни встретились счастье, беда и как менялось лицо счастья. Как вспыхнули эти глаза желанием помочь, желанием поделиться собственным благополучием.

Часов, кажется, пять провели студенты у неблагополучных ребят. Знакомство вылилось в дело чисто студенческое по форме и содержанию.

Сбросили снег с крыш, хотя раньше детдом за это платил деньги местным ханыгам. Смастерили снежный городок, да такой, что

сельские жители потом смотреть его сюда ходили. Катали малышей на санках, знакомились, утирали малым носы.

Когда возвращались назад, на крутой берег Волги вышел едва ли не весь детдом. Махали варежками. Звали: «Приходите еще!»

И приходили. Другие смены молодежного лагеря и приходили и приплывали летом в детский дом, а те студенты в тот зимний вечер без усталости спрашивали нас о детских домах вообще, о том, как и почему оказываются там ребята.

В тот-то вечер, пожалуй, и окрепло во мне ощущение, по-моему, совершенно точное: у студентов такой огромный, неистраченный резерв душевных сил, духовной энергии, который надо, непременно надо использовать. Да и только ли у студентов!

Узнав о беде, люди приходят на выручку — старая эта традиция сильна и поныне. Читаешь газеты — там отдали кровь, там бросились в воду, в полымя. А рабочий почин, когда бригадир крепкой бригады бросает налаженное дело, идет туда, где нужнее, — разве это не участливость людская?

Но будем откровенны: рядом с отзывчивостью живет глухота, рядом с добротой — сухость, рядом с желанием помочь — душевная леность, и эти дурные свойства, увы, нарастают, накапливаются, как запасы отвратительной энергии — энергии отрицательного значения.

Вот сын забыл свою мать: помогать поможет, шлет исправно четвертные к праздникам, а писем не пишет. Вот дочь ведет себя, как законченная эгоистка, все лучшее — себе, и хоть родители не возражают, рады улажить любимое чадо любым способом, не вызвать возмущения это не может. Соседи не здороваются с соседями, незнакомы даже — это уж норма, обычай, к печали нашей, добытый, рожденный на наших глазах нашим же собственным благополучием, — у каждого отдельная квартира — и есть немало примеров из милицейской хроники, когда сосед не открывает дверь, если стало худо незнакомому ему соседу.

Словно бы на глазах то тут, то там возникают между людьми невидимые перегородки, и стыдно и страшно становится от мысли, что у новой этой энергии, как у всякой энергии, есть сила, есть власть, которой доброта и отзывчивость часто не в силах ответить, ведь они — доброта и отзывчивость, а не злоба и эгоизм.

Недобрые слова и несправедливые поступки разрушительны и громогласны, тогда как любовь и сердечность тихи и молчаливы.

Кстати, малыши, оказавшиеся в детских домах — их число не убывает, а причина, по которой они оказываются там — без одного процента все сто при живых родителях, — результат все той же разрушающей отрицательной энергии зла и эгоизма.

Но я не о зле хочу поразмышлять, а о добре, о том, как по природе своей некрикливое, а, скорее, тихое, молчаливое качество должно бы

найти новый ход в нашем человеческом обществе, и о том, почему мы столь мало, а главное, бессистемно печемся о его нравственном самоутверждении во всех проявлениях человеческого общежития.

Итак, красивые, интеллектуальные, враз посерьезневшие лица благополучных студентов в зимнем лагере под Костромой. Они стояли передо мной и спрашивали: что можно, что нужно сделать для детских домов там, куда они вернутся? И столько в их вопросах было напора, столько искренней готовности тотчас, не дожидаясь возвращения, приняться за дело, что я лишь печалился: ах, жаль, нет у меня для них «фронта работ».

Комсомол дал «фронт работ» и тем студентам и многим другим. Действуют педагогические отряды. Укрепились всесоюзная неделя «Творческая молодежь — воспитанникам детских домов». Перед XIX съездом комсомола по всей стране прокатилось хорошее дело под названием «Добрые книги — детскому дому». Собрали больше миллиона книг. В студенческом строительном движении появилось совершенно новое — отряды безвозмездного труда. Заработанное своими руками ребята передают детским домам, чтобы укрепить их бюджеты, чтобы купить подарки к дню рождения. Московские писатели придумали и уже издали первый том сборника «Подарок», где собрана хорошая литература, и весь тираж которого комсомол закупил для детских домов. Теперь такой сборник будет ежегодным, глядишь, через пятилетку — собрание лучших сочинений окажется в руках у тех, кому книги пока что достаются несправедливо трудно.

Перечисленное мною — внешняя сторона хорошего дела. Внутренняя же — мне важнее. Внутренняя сторона дела состоит в том, что многие и многие тысячи людей, прежде всего молодых, получают возможность проявить участие в тех, кому это участие нужно. Находится выход для доброй энергии. Создается возможность для проявления добрых человеческих свойств, среди которых и участливость — забота о многих других.

Мне довелось прочесть сотни писем, вложенных в бандероли с книгами для детских домов. Много писем от детей, от пионеров. Мне кажется, что это свидетельство силы и ума нашей начальной школы. Ее учителя рассказали ребятам о комсомольской затее, раздули в них угольки добросердечия, подвинули к реальному поступку. Много писем из коллективов — рабочие, конструкторы, студенческие группы восприняли идею как собственную необходимость. Одна старушка — по ее просьбе не называю фамилию — принялась собирать макулатуру, сдавала ее, на скромную свою пенсию выкупала дорогостоящие нынче дефицитные книги и присылала их для детского дома — это уже не просто порыв, а действие, продолжительное по времени, емкое по труду. Пусть простит меня, что не знаю ее имени-отчества и называю ее столь официально, с инициалами, В. И. Федюшкина из Ленинграда. Эта добрая женщина связала семь пар шерстяных

носочков для малышей и прислала их вместо книг. Поклон ей низкий за это. Носочки в детдоме, конечно, есть, но кто не знает, как горят они на маленькой егозе, да и тепло в детдоме не помешает — хоть моральное, хоть буквальное, которое дают носочки.

Так что если говорить о детском доме, прийти в него смогут немногие, но право на помощь, на участие в добрых делах должны иметь все, не так ли?

И вот тут от частного, от детских домов, я хочу перейти к более широкому. Мы много говорим и пишем о нравственном воспитании. Слова эти — нравственное воспитание — порой звучат как заклинание. В нравственном воспитании, как и в футболе, разбираются, кажется, все. По крайней мере все знают, что требуется, к чему надо прийти. Вот как прийти — это сложнее. Тут надо ломать голову. И чаще всего выходит так, что если нравственная цель нам очевидна, то путь к ее достижению, само воспитание выглядят расплывчато, туманно, так и оставаясь словами.

Мне кажется, воспитание нравственное, точно так же, как воспитание трудовое, требует упражнения, тренировки, знания. А для этого нужны возможности — не в форме собраний, более или менее научных сообщений и докладов, а форме дела — вполне конкретного, массового и точного. Участвительность как форма положительной человеческой энергии должна находить применение, отыскивать выход, иначе это грозит страшным: затиханием импульсов доброго желания. Как известно, если кран ржавеет, вода не течет. Применительно к душе — это страшная, разъедающая ржавчина.

В размышлениях о природе подвига, как мощного по нравственной решимости разового поступка, существуют разные суждения. Тут поминаются и характер, и отчаяние, и то обстоятельство, что совершить разовый поступок едва ли не легче, чем множество мелких, но одинаковых в своей последовательности — не берусь судить, что точнее. Убежден лишь в одном: подвигу не может не предшествовать последовательная в своей целеустремленности жизнь. Подвиг не может состояться после ряда несправедливых поступков. Только честные решения жизненных, а может быть, и всего лишь житейских задач способны подготовить нечто большее. Каждодневные упражнения нравственности дарят нам героев.

Когда-то Лев Николаевич Толстой произнес вещие слова: «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Он же добавил: «Совесть — верный руководитель жизни людей».

Но что такое совесть в человеческом общежитии? Свод внутренних истин, правил, которые вступают в действие в тех или иных обстоятельствах? Вот именно — вступают. Непременно действуют. Совесть — многозначное качество, она складывается из многих составных, одни из которых диктуют линию человеческого поведения в разных условиях, а другие действительны без всяких условий.

Одна из благороднейших добродетелей — участливость.

Мне хочется стряхнуть с этого слова налет благотворительности; нет, участливость — это чистое человеческое свойство, и действительно оно без условий, вовсе не тогда лишь, когда кому-то плохо, хотя, если кому-то плохо, участливый человек не останется в стороне.

Итак, участливость. Я пошел к этому важному свойству души от детского дома, отношение к которому должно быть явно участливым.

Но вернемся оттуда в нашу вседневность.

Меня не устаёт поражать перепад между естественной участливостью родителей к маленькому своему ребенку и неестественной безучастностью к ребенку подростку — отроку, юноше. Я не берусь утверждать, что это норма, что она распространяется на всех как некая самодовлеющая и обязательная сила. Нет. Но многие отроческие проблемы, носящие сегодня, увы, черты общечеловеческих проблем — и среди них едва ли не в полном объеме такая болезненная, как юношеская преступность, — начинается с совсем, казалось бы, безобидного положения, при котором подросток, достигший 15—16 лет, вдруг, порой и для себя неожиданно, получает статус самостоятельности, опережающий его нравственное развитие. При этом родители слепы, глухи, безучастны по отношению к дитю, каждый чих которого еще так недавно вызывал бурю беспокойства.

Многие склонны сосыковать понятие «участливость» с понятием «опека». Что и говорить, неумная и мелочная участливость может обернуться и раздражающей, вызывающей протест опекой. Но сегодня у нас в дефиците именно участливость, умение пользоваться ею.

В быту расхожей стала ситуация, когда старшие подходя и, как говорится, наотмашь строго судят молодежь. Презрение и неудовольствие брызжут через край. При этом, если, скажем, паренек «свой» и покорен, он молча глядит за окно, точно норовит выключить свой слух, воспринимает ругань как звуковую гамму, не больше; если «свой» и непокорен, начинается перебранка, которая старших приводит к сердцебиению, злости и валидолу — коктейль не из самых благожелательных. Если паренек не «свой» и дело происходит на улице, в магазине, яростный суд старших вызывает огрызание — здесь пропасть между судьями, как правило непрошеными, и подсудимыми возникает немедленно и примиряющих обстоятельств нет.

Но вот что поражает: высокая взыскательность к младшим часто уживается с полным отсутствием какой-либо взыскательности к себе. А «возрастная» критика, когда один критикует другого только по праву возраста, к хорошему привести не может. Да, кажется, и такой цели не преследует.

И все же подобные отношения часты. Можно утверждать — типичны. Повышенные претензии к молодым при полной личной глухоте к ним и отсутствии взыскательности к себе лишь провоцируют нелюбовь младших к старшим. Как же тут не вспомнить понятие

«участливость», если размышлять о позитивном выходе из положения? Этот выход — единственный.

Да, участливости надо учить. И не только юных. Но и взрослых.

Еще один вариант. К «своему» участлив, к «чужим» — равнодушен, холоден, злобен. Что это? Ограниченность человеческих чувств, ярко выраженный индивидуализм?

Ну а как все-таки учить участливости?

Увы, такой методики нет. Нет такого курса в пединститутах и прочих вузах. Это курс сердца, вот в чем дело.

Но разве утверждение человеческих, сердечных отношений — не цель и смысл нашего общества?

Помню, в тяжкие годы моего военного и послевоенного детства мы, мальчишки, по каким-то неписаным законам в первую голову презирали эгоизм. Пацан, в одиночку съедавший на перемене принесенную из дома дополнительную булку, рисковал в один миг оказаться на последней ступеньке детского уважения. На высшей же ступеньке бывал тот юный мудрец, который выручал незаметно из беды на контрольной или по дороге домой выпрашивал потихоньку твои беды да еще и утешить мог — угловато, неловко, по-мальчишески. Война приносила много беды, похоронок. В черный час ребят утешали взрослые, и это понятно, но их утешали и их ровесники, и эта скупая, внушенная горем участливость стоила многих уроков и высоких слов.

Не так давно в общем деле нашего воспитания произошел интересный сдвиг. Система ПТУ приняла мастерами десятки и десятки известных рабочих, Героев Социалистического Труда. У этих людей нет педагогического образования, но есть педагогическое сознание и жизненно продиктованное рабочее умение обращаться с людьми. С людьми, подчеркнем, взрослыми.

Это интересный поворот мысли. Можно ведь поначалу возразить — идут-то, дескать, они к людям далеко не взрослым. Верно. Но к людям, торопящимся стать, быть и уже теперь выглядеть взрослыми.

Что из специфически педагогического берут умудренные жизнью герои? Представьте себе — совершенно «непедагогическую», но такую по-человечески понятную «категорию», как участливость.

Если человек в кризисе, а человек этот юн, что по здравому смыслу следует сделать прежде всего? Разобраться в этом человеке. Что у него на душе? Чем он мается и что любит? Простые истины, что и говорить, но вечно важные, и славные ленинградцы, дважды Герои Социалистического Труда Василий Александрович Смирнов и Афанасий Прокопьевич Михалев, пришедшие в ПТУ один с Балтийского, другой с Ижорского заводов, стали каждый день исповедовать эти простые истины, пестуя своих ребят, завтрашних рабочих.

Мне кажется, именно тут, в этой смычке образования и труда, завязывается нынче важный педагогический и человеческий плод, обратить внимание на который стоило бы нашему учительству. Когда

к ученику относятся формально, а значит, безучастно, оценка всех его порывов идет по простой шкале, сдал — не сдал, активный — пассивный, и дело с концом. Я не призываю, чтобы учитель стал таким иезуитом, который знает каждое душевное движение и глаз не спускает со своих учеников. Но и равнодушие, которое синонимично безучастности, не может быть нормой отношений.

Участливость я бы сравнил с прекрасным плодоносящим деревом. Его корни уходят в толщу поколений, а плоды надолго оставляют прекрасное послевкусие. Не зная личных биографий Смирнова и Михалева, совершенно уверен, что в их судьбах когда-то приняли участие добрые, хорошие люди. Эта участливость родила участливость их учеников, теперь прославленных мастеров, а может, и героями-то их сделала все та же людская участливость.

Еще одно, чрезвычайно важное. Участливость — свойство не одностороннее, оно обладает равновеликой силой. Участлив взрослый к подростку, он тотчас, без промедления, оказывается участливым по отношению к нему, взрослому. А если юный человек становится участливым ко всем окружающим — ко всем взрослым, ко всем ровесникам, ко всем младшим, можно считать, что достигнута важная нравственная цель: юный человек научен жить по совести.

Я начал разговор об участливости с совершенно конкретного — детского дома. Чужая беда должна вызывать озабоченность и сразу за ней следующую участливость. Это и есть практика нравственного воспитания. Но мир наш полон всевозможнейших ситуаций, в которых может и должна воспитываться человеческая совесть. Пожилой человек тащит тяжелую вещь — разве это редкая ситуация? Но сколь часто молодые, проходящие мимо, кинутся ему на помощь? Увы, статистики этих соотношений нет, процентами не измеришь доброту и отзывчивость. Есть утверждения, что процент этот падает — суждения идут на глазок, примерно, под руководством чувств, когда один дурной пример способен заслонить десяток хороших хотя бы потому, повторяю, что хорошие поступки не крикливы.

Однако твердо надо знать: участливость — это действенное проявление совестливости, это мостик между старшими и младшими, инициативная доброта, получающая немедленный отклик.

Бабушка, знающая о заботах внучки, и внучка, любовь которой заключена не только в потреблении бабушкиной теплоты, но и в добрых поступках по отношению к старому человеку; отец, стремящийся познать непокорность собственного сына не столько ремнем, сколько умом, и сын, интересы которого простираются несколько дальше отцовской зарплаты; учитель, помощь которого выходит за пределы школьного дневника, и школьник, для которого честь класса не абстрактное понятие общего собрания, а боль сердца и забота души, — вот что такое, собственно, участливость как категория общественная, социалистическая, советская.

Всем есть дело до всех — до близких и совсем незнакомых.

Как это прекрасно! И как участливо!

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Нежеланные, или Мать чужих детей.	3
Участливость	56

Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ

НЕЖЕЛАННЫЕ, ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ.

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а

Сдано в набор 05.04.84. Подписано к печати 06.06.84. А 00385.
Формат 70 × 108 ¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 4,28.
Тираж 92 000 экз. Изд. № 1469. Зак. № 2530. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОПОРТРЕТОВ

Перелистаем домашний фотоальбом:
детский утренник, свадьба, отпуск,
день рождения...

Но, пожалуй, самые
интересные фотографии —

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФОТОПОРТРЕТЫ.

Видно, что они созданы
не любителями, а фотомастерами
службы быта.

Умелое использование
осветительной аппаратуры,
фона и интерьера помогло
выразить Ваш характер и настроение.

Росбытреклама